

Михаил Терентьев

Тысяча и Одна Ложь

Лампа магрибинца



Михаил Терентьев

**Тысяча и одна ложь.
Лампа Магрибинца.**

«Автор»

2026

Терентьев М. П.

Тысяча и одна ложь. Лампа Магрибинца. / М. П. Терентьев —
«Автор», 2026

Семь лет он разоблачал экстрасенсов. Теперь ему придётся стать самым великим обманщиком Шёлкового пути. Иллюзионист из Алматы срывается с крыши бухарского медресе и приходит в себя в теле вора Ала ад-Дина на крышах средневековой Мараканды. Чужое лицо, чужая мать, долг воровской гильдии и одиннадцать дней, чтобы не лишиться руки. А потом на могиле отца появляется щедрый «дядя» из Магриба и зовёт в горы, где под скалой спрятана сокровищница древних царей и старая медная лампа. Магии в этом мире нет. Но все верят в джиннов. И тот, кто умеет делать чудеса руками, может стать принцем, построить дворец за одну ночь и увести невесту у сына великого визиря. Если не забудет, что любое чудо держится до первого ветра. Принцесса с острым языком, джинния с двумя ножами, учёная рабыня, которая умнее всех купцов Мараканды, и восточная сказка такой, какой она была на самом деле.

© Терентьев М. П., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Падение	5
Глава 2. Сын портного	12
Глава 3. Фокусник с базара	19
Глава 4. Сорок	26
Глава 5. Дядя из Магриба	32
Глава 6. Невольничий рынок	38
Глава 7. Колыбельная	44
Глава 8. Дорога на Нуратау	50
Глава 9. Пещера чудес	56
Гл	62
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Михаил Терентьев

Тысяча и одна ложь. Лампа Магрибинца.

Глава 1. Падение

Рассказывают, о счастливый царь, — а Единый знает лучшие, — что жил в городе Мараканде, на великой дороге между Китаем и Магрибом, бедный юноша по имени Ала ад-Дин, сын портного Мустафы. Был он ленив и дерзок, бегал по крышам, как кошка, таскал с лотков всё, что плохо лежит, и мать его, бедная вдова, плакала о нём ночами.

И пришёл однажды в Мараканду магрибинец, колдун из колдунов, и назвался юноше родным дядей, и повёл его в горы, где под скалой лежала сокровищница древних царей. А в сокровищнице, среди деревьев с плодами из яхонтов и изумрудов, горела медная лампа, и в лампе жил джинн, могучий и страшный, покорный тому, кто её держит.

И было потом всё, о чём поют на базарах: и принцесса Бадр аль-Будур, прекраснее полной луны, и дворец из яшмы и сердолика, выросший за одну ночь, и коварство магрибинца, унёсшего дворец за край земли, и возвращение, и свадьба, и великая радость.

Так рассказывают. А сказители, как известно, любят золото большие правды.

Как было на самом деле, поведал потом сам Ала ад-Дин. И рассказ его начинается не в Мараканде, и не в том веке, и даже не в том мире.

* * *

Старик продавал лампу, исполняющую желания, за сорок долларов. Для Бухары честная цена: за тридцать можно было взять ту, что исполняет только мелкие.

— Ещё раз, отец, — сказал я и поднял стабилизатор повыше, чтобы в кадр влез купол. — По-русски, если можно. Для зрителей.

Старик посмотрел на телефон, как смотрят на муху, которая не улетает. Под куполом торговых рядов было прохладно и гулко, пахло медью, пылью и шашлыком из соседнего переулка. Туристы шли мимо стайками: китайки в панاماх, немцы в сандалиях, две наши тётки с магнитами в пакетах. Старик сидел на низкой табуретке в нише у самого входа, между лавкой с тюбетейками и лавкой с ножами, и перед ним на коврике стояли лампы. Штук двадцать. Медные, латунные, одна почти серебряная. С носиками, как у чайника, с крышечками, с ручками, закрученными в петлю. Каждая — «из дворца эмира», у каждой — «история».

— Лампа старая, — сказал старик по-русски, с тем акцентом, который туристы считают подлинным, а я считаю рабочим. — Двести лет. Потрёшь — она поёт. Желание загадаешь — исполнится.

— Покажите, как поёт.

Он взял самую потёртую, с вмятиной на боку, похожей на след от большого пальца, и провёл по ней ладонью. Лампа тонко зазвенела. Звук был тихий, но под куполом ему хватило места, и китайки остановились.

— Магия, — сказал старик и поставил лампу на коврик.

Я выключил запись, включил снова и развернул камеру на себя.

— Итак, друзья. Мы в Бухаре, в торговых куполах, и перед нами классика жанра. Смотрите внимательно.

Я попросил лампу поддержать. Старик помедлил, но отказать при людях не мог. Лампа была тёплая. Не как вещь, которую держали в руках, а как вещь, которая час стояла у мангала. Я показал это в камеру: провёл тыльной стороной ладони по коврику у его ног и нашёл под ним

тонкую жестяную пластину, горячую, как сковородка. Под пластиной, судя по запаху, тлели угли в плошке.

— Лампа «оживает» у вас в руках. Вот почему.

Потом я перевернул её. Донышко было двойное, припаянное неровно, а между стенками катался шарик. Я наклонил лампу, и он прокатился со знакомым звуком.

— А вот почему она поёт. Трёшь — лампа чуть наклоняется — шарик катится по бортику. Ноль магии, сто процентов паяльника.

Тётки с магнитами засмеялись. Китайки не поняли, но на всякий случай тоже заулыбались. Я поймал в кадр мальчишку лет двенадцати, который стоял у лавки с ножами и уже минут десять одобрительно кивал каждому, кто брал лампу в руки.

— И вот этот юный господин, который очень рад за каждого покупателя. Внук, я полагаю?

Мальчишка перестал кивать и исчез в толпе с такой скоростью, что я почти позавидовал.

Старик не рассердился. Это меня и зацепило, уже потом, когда я прокручивал всё в голове. Обычно они злятся. Кричат, что вызовут полицию, машут руками перед объективом, хватают за рукав. Этот сидел на своей табуретке, сложив руки на животе, и смотрел на меня с каким-то даже сочувствием. Будто это не я его разоблачил, а он меня.

— Всё? — спросил он.

— Всё, — сказал я и выключил камеру. — Без обид, отец. Работа такая.

— У меня тоже работа, — сказал он.

Я полез в карман, достал десять долларов и положил на коврик рядом с поющей лампой. За беспокойство. Я всегда так делал. Не из доброты: из расчёта. Человек, которому ты заплатил, потом не пишет в комментариях, что ты украл у него кусок хлеба.

Старик на деньги не посмотрел. Он смотрел на меня, чуть склонив голову, как смотрят на человека, который опаздывает на поезд и ещё об этом не знает.

— Ты свою ещё не потёр, — сказал он.

По-русски. Чисто, без всякого акцента, как диктор на радио.

Я засмеялся. Он тоже улыбнулся, беззубо и широко, и вдруг стал похож на мою бабушку с отцовской стороны, которую я видел два раза в жизни.

— Мою — это какую?

— Узнаешь, — сказал он и отвернулся к китайкам.

Я пошёл искать крышу повыше. Для финальных кадров нужен был закат.

* * *

Канал назывался «Алдар. Без чудес». Семьсот двенадцать тысяч подписчиков, реклама VPN и чая в пакетиках, два суда с экстрасенсами. Я разоблачал гадалок, целителей, ясновидящих, торговцев святой водой и амулетами от сглаза. Меня ненавидели в комментариях и звали на телевидение, куда я не ходил: телевидение само было одним большим фокусом, только без таланта.

По основной профессии я был иллюзионистом. Корпоративы, свадьбы, карты, монеты, чтение мыслей, освобождение из наручников за тридцать секунд под барабанную дробь. В двадцать лет я занимался паркуром, в двадцать пять понял, что фокусы кормят лучше, в двадцать девять снимал про чужие фокусы и немного скучал по своим.

Почему разоблачал? Спрашивали часто. В интервью я говорил: потому что обманывать людей нечестно, а я знаю, как это делается. Правду я не говорил никому.

Правда была в том, что моя мать, учительница русского и литературы в школе на Шаныраке, за полгода до инсульта отнесла «целительнице» с Зелёного базара все свои сбережения и перестала пить таблетки от давления. Целительница сказала, что таблетки «забивают энер-

гию». Я узнал об этом, когда мать уже не могла говорить. Я знал все фокусы на свете и не заметил один, самый простой, который провернули с человеком у меня под носом.

Так что я разоблачал. Каждую неделю. Весело, с шутками, с хорошей обложкой. Так было не больно.

Кукельдаш стоял над Ляби-Хаузом огромной рыжей стеной. Медресе было на ремонте, но с задней стороны у реставраторов остались леса, а на лесах — сторож, которому двадцать долларов показались хорошим поводом отлучиться за лепёшками. Я поднялся на крышу, закрепил телефон на стабилизаторе и прошёл по краю туда и обратно, чтобы почувствовать поверхность.

Кирпич был старый, местами крошился, но держал. Внизу пруд темнел под тутовниками, на площади заводили свадебную музыку, и фотограф выстраивал жениха с невестой на фоне бронзового Ходжи Насреддина на ослике. Над Бухарой висела медная пыль, в которой тонули купола. Лучший свет на свете. Десять секунд бега по краю, прыжок через разрыв кладки, приземление с перекатом — и солнце за спиной. Такое смотрят до конца.

Я включил запись и побежал.

Мне нравится этот момент в беге, когда голова отключается и остаются только ноги. Ты не думаешь, куда ставить ступню. Ты уже там. Кирпич, кирпич, край, стык, кирпич. Я видел впереди разрыв в кладке, метра полтора, сущая ерунда, видел тень на той стороне, видел, как солнце ложится на купол, и оттолкнулся.

Край, от которого я оттолкнулся, ушёл вниз вместе с моей ногой.

Не треснул, не хрустнул. Просто перестал быть. Кусок кладки, который пятьсот лет ждал именно меня, мягко сел под пяткой, и толчка не получилось. Вместо прыжка вышло что-то вроде шага в пустоту. Я успел подумать очень ясно и спокойно, как думают только в последний момент: «Реставраторы, сволочи».

А потом я падал.

Говорят, в такие моменты жизнь проносится перед глазами. У меня ничего не пронеслось. Была рыжая стена, которая уходила вверх, была медная пыль, был телефон, который кувыркался рядом со мной и снимал, как я падаю, и где-то очень далеко, на самой границе слуха, тонко звенел маленький металлический шарик. Будто кто-то наклонил лампу.

Потом стало темно.

* * *

Потом стало светло.

Я падал снова. Не с того места, не с той высоты, не в то время. Солнце било прямо в глаза, белое, полуденное, злое. Под ногой вместо обожжённого кирпича была глина, сухая, растрескавшаяся, и этот край тоже уходил вниз вместе со мной. Всё было как повтор неудачного дубля. С одной разницей.

Мне было не всё равно.

Тело решило за меня. Я не стал бороться с краем, не стал ловить равновесие, которого уже не было. Я сделал то, что делал тысячу раз на тренировках: упал на бок, прокатился по наклону, выбросил руки и поймал кромку ладонями. Удар в плечи, рывок, пальцы вцепились в глину. Я повис на краю плоской крыши, и ноги мои болтались над чьим-то двором.

Руки были не мои.

Я увидел это раньше, чем понял. Узкие, смуглые, с обгрызенными ногтями, в цыпках, в царапинах, с чёрной каймой грязи под каждым ногтем. Мои руки были больше. Мои руки были белее. На моих руках не было шрама поперёк левого запястья.

Во рту было что-то кожаное и тяжёлое. Я сжимал это зубами так, что ныли челюсти.

— Держи вора! — заорали сзади и сверху, по крыше затопали. — Руку ему, собаке! Руку!

Язык был незнакомый. Я никогда его не учил, ни одного слова. И понял всё, до последнего звука, как понимают родной.

Думать было некогда. Голова хотела остановиться и разобраться: что это за крыша, почему день, где Бухара, где мой телефон, чьи это руки, что у меня во рту и почему меня хотят лишиться руки. Голова хотела паниковать. Ноги не хотели. Ноги, как и руки, были чужие, но у них был свой хозяин, и хозяин этот знал про погоню больше меня.

Я глянул вниз. Во дворе под крышей стоял навес из жердей и циновок, а под навесом лежала гора дынь. Жёлтых, продолговатых, пахнущих так, что даже в эту секунду у меня в животе что-то сжалось.

Сапоги грохотали уже совсем рядом.

Руку было жалко. Я разжал пальцы.

Навес принял меня, спружинил, и циновка лопнула. Я провалился прямо в дыни. Две лопнули подо мной с мокрым сочным звуком, третья покатила по двору, и я, скользя в липкой мякоти, вывалился из-под навеса на утопанную землю. Посреди двора стоял бородатый человек в халате и держал в руках нож для дынь. Мы посмотрели друг на друга. Он открыл рот, чтобы закричать.

— Мир вашему дому, — сказал я.

Сказал сам, не думая, на том же чужом языке, и сам удивился. Человек с ножом тоже удивился и крикнуть не успел. Я уже был у калитки.

Улица. Узкая, глухая, стены из глины без окон, посреди улицы канава с мутной водой, и над канавой — дерево с белыми ягодами. Шелковица, отметила голова, которая по-прежнему пыталась хоть что-нибудь понять. Жара стояла такая, что воздух дрожал над стенами. Где-то кричал осёл. Не для туристов кричал, всерьёз.

С крыши в конце улицы прыгнули двое. Стёганные куртки до колен, на головах железные шапки, в руках палки. У одного на поясе висел длинный нож в ножнах. Они увидели меня и заревели так, что осёл замолчал.

Я побежал в другую сторону.

Бежать в этом теле было странно. Оно было легче моего килограммов на пятнадцать и ниже на ладонь, может больше. Каждый шаг выходил короче, чем я ждал, и в первые секунды я чуть не упал, запнувшись о собственную ногу. Потом приноровился. Тело было лёгкое, жилистое и очень, очень быстрое. Оно не уставало. Оно знало, куда поворачивать.

Я не знал. Я смотрел на всё сразу: глухие стены, резные ворота, плоские крыши одна к другой, как ступени огромной лестницы. Над крышами вставали рыжие кирпичные купола и тонкая башня минарета. Не Бухара. Никаких проводов, никаких спутниковых тарелок, никакого асфальта. Пахло навозом, горячей глиной, дымом, жареным луком и специями, которых я не знал.

Съёмочная площадка, решила голова. Историческое кино. Меня занесло на площадку, и сейчас кто-нибудь крикнет «Стоп!».

Никто не крикнул «Стоп!». Сзади закричали «Держи!».

Улица кончилась тупиком. Стена, дерево, какая-то арба с огромными колёсами, прислонённая к стене. Я взбежал по колесу, как по ступеньке, схватился за край стены, подтянулся. Руки подтянули легко, будто всю жизнь только этим и занимались. С гребня стены я перебрался на крышу, пробежал, перепрыгнул на соседнюю.

И промахнулся.

Совсем чуть-чуть. На ладонь. Я рассчитал прыжок по старым ногам, по старому росту, и край соседней крыши оказался дальше, чем я думал. Пальцы ноги ударились о кромку, и я грудью упал на крышу, проехал по ней, обдирая локти, и замер на самом краю. Внизу был переулок. В переулке стояли ещё трое в стёганных куртках и смотрели вверх.

Один из них был не такой, как остальные. Постарше, пошире, с лицом, которое когда-то рассекли наискось через лоб, нос и губу, и шрам зажил толстым белым рубцом. Он не кричал. Он смотрел на меня спокойно и тяжело, и было в этом взгляде что-то очень знакомое. Так смотрят гаишники на трассе под Капчагаем, когда уже выписали штраф и знают, что ты заплатишь.

— Спускайся, Игла, — сказал он почти ласково. — Надоело бегать. Мне надоело, тебе надоело.

Игла. Значит, у этого тела было имя. Или кличка.

— Мне не надоело, — сказал я.

И опять удивился собственному голосу. Голос тоже был чужой: выше моего, молодой, с хрипотцой.

Человек со шрамом вздохнул, как вздыхают отцы больших семей.

— Туграл-бек, — сказал один из стражников, — он опять уйдёт.

— Не уйдёт, — сказал Туграл-бек. — Обходи.

Я не стал ждать, пока обойдут. Встал и побежал по крышам обратно, туда, где было больше куполов и больше шума. Внизу разворачивался город, и я видел его теперь целиком, сверху, как на макете. Море плоских крыш, и на них оранжевые ковры абрикосов, разложенных сушиться прямо на глине.

Потом была площадь с деревьями, потом рынок, крытый циновками. Я съехал по наклонному навесу, спрыгнул в толпу и нырнул между лотками. Лепёшки, медные котлы, горы изюма, мешки с чем-то красным, тюки ткани, клетки с перепёлками. Меня толкали, на меня ругались, кто-то схватил за рукав, и я вывернулся раньше, чем понял, что вывернулся. Тело знало. Тело умело.

Сзади грохотало. Стражники ломились через толпу, опрокидывая корзины. Кто-то завизжал. Кто-то захохотал. Кто-то крикнул: «Давай, Игла!», и в этом крике было столько радости, что я почти улыбнулся.

За рынком начинались стены, и под одной из стен в канаву уходила вода. Под стеной темнела арка, низкая, по пояс, и через неё вода утекала куда-то во двор. Я посмотрел на арку, и ноги сами повели меня туда. Я лёг на живот и полез в воду.

Она была тёплая, мутная и пахла тиной. Я прополз под стеной на локтях, глотнул, закашлялся, выполз с другой стороны в сад. Персиковые деревья, виноград на жердях, тишина. Где-то капала вода. За стеной бегали, кричали, спорили, куда я делся, и голос Туграл-бека сказал устало: «Значит, в арык ушёл. Шакал. Ладно. Никуда не денется, к ночи домой придёт».

Шаги удалились.

Я лежал в траве под персиком, мокрый, в дынной мякоти, с ободранными локтями, и изо рта у меня по-прежнему торчал кожаный мешочек. Я наконец разжал зубы. Мешочек упал мне на грудь и звякнул.

* * *

До вечера я просидел на крыше.

Из сада выбрался через заднюю калитку, переулками, стараясь не бежать, потом нашёл лестницу, приставленную к чьему-то дому, и поднялся. Крыша была пустая. На ней стоял старый глиняный кувшин с отбитым горлом, лежали какие-то жерди, а в углу — большая бочка с водой, прикрытая циновкой. Я сел в тени этой бочки, спиной к стене, и стал думать.

Первым делом я сделал то, что сделал бы любой нормальный человек. Проверил, сплю ли я.

Есть такая техника у людей, которые учатся осознанным сновидениям. Посмотри на свои руки и посчитай пальцы: во сне их часто бывает шесть или четыре. Прочитай надпись, отвернись и прочитай снова: во сне текст меняется. Ущипни себя: во сне не больно.

Пальцев было пять на каждой руке. Узких, смуглых, чужих, но пять. Ущипнул себя за руку: было больно. Ущипнул сильнее: было больнее. Локти горели там, где я ободрал их о крышу. Колено ныло. В животе урчало. Во сне так подробно не бывает.

Надпись я нашёл на монетах. В кожаном мешочке их было штук пятнадцать: серебряные, тонкие, неровные по краю, и медные, толстые и зелёные. На серебряных были выбиты строчки вязью. Я смотрел на них, отворачивался и смотрел снова. Вязь не менялась. Я её не понимал.

Это напугало меня больше всего. Я понимал язык стражников, сам сказал «мир вашему дому» так, что никто не удивился. А читать не мог. Будто кто-то выдал мне этот язык на слух и забыл выдать глаза.

Потом я перебрал рациональные объяснения, одно за другим, как колоду.

Кома: лежу в реанимации в Бухаре, и мозг от скуки рисует историческое кино. Но в коме, насколько я знаю, не болят ободранные локти. Психоз после удара головой? Галлюцинации не пахнут дынями так, что хочется есть. Розыгрыш? Меня, который семь лет разоблачает розыгрыши, разыграли так, что я очнулся в чужом теле? Не бывает.

Оставалось то, что я разоблачал семь лет. То, чего не бывает.

Я посидел с этим. Потом отложил в сторону. Не выбросил, просто положил рядом, как колоду, из которой ещё не выбрал карту. Разберусь потом. Сначала надо выжить до вечера.

Солнце сползло к западу, жара отпускала. С крыш вокруг доносились голоса, где-то плакал ребёнок. Над городом повис дым от сотен очагов, и в дыму носились стрижи, визжали и падали к самым крышам. С минарета, который я видел днём, поплыл долгий, высокий голос. Звал к молитве. Мелодия была похожей на ту, что я слышал в Бухаре утром, и совсем другой. Слова я опять понимал. Звали к Единому.

На крышах вокруг люди бросили свои дела и повернулись в одну сторону.

Я не повернулся. Я сидел и смотрел, как тысяча крыш одновременно замирает, и мне в первый раз за этот день стало по-настоящему холодно.

Что-то мягкое и цепкое прыгнуло мне на плечо.

Я дёрнулся так, что стукнулся затылком о стену. На плече сидела обезьяна. Маленькая, рыжеватая, с серой мордочкой и умными злыми глазами. В левом ухе у неё висела крошечная серебряная серьга. Обезьяна посмотрела мне в лицо, потом деловито полезла лапой мне за пазуху, нашла мешочек с монетами и попыталась его вытащить.

— Эй, — сказал я. — Это не твоё.

Обезьяна посмотрела на меня с укоризной. Потом раздула щёку, запустила в рот пальцы и вытащила оттуда медную монету, мокрую и блестящую. Положила её мне на колено. Будто доля.

Я смотрел на монету. Обезьяна смотрела на меня.

— Мы знакомы? — спросил я.

Обезьяна зевнула, показав острые жёлтые зубы, устроилась у меня на шее, как воротник, обхватила меня хвостом и закрыла глаза.

Значит, знакомы.

Я просидел так ещё немного, боясь пошевелиться. Обезьяна была тёплая и тяжёлая и пахла, как пахнут все звери, чуть-чуть псиной и чуть-чуть сеном. Под её мехом тихо стучало сердце, быстро и часто. Мне почему-то стало легче.

Потом я встал, осторожно, чтобы её не уронить, и подошёл к бочке.

Вода в ней стояла тёмная, неподвижная, с плавающими на поверхности листьями шелковицы и дохлой мухой. Солнце садилось у меня за спиной, и вода была как зеркало. Я наклонился над ней.

Смотреть в зеркало после такого дня страшно. Не потому, что увидишь чудовище. Потому что увидишь человека.

Из воды на меня смотрел парень лет двадцати. Смуглый, скуластый, с тёмными, чуть раскосыми глазами под густыми сросшимися бровями. Худое лицо, острый подбородок, на подбородке три редких чёрных волоска вместо бороды. Через левую бровь, от середины вверх, шёл тонкий белый шрам. Волосы чёрные, спутанные, в засохшей дынной мякоти. На шее у него сидела обезьяна и смотрела из воды на меня тоже.

Он был не мой. Ни одной моей черты. Даже глаза, которые, говорят, не меняются, были чужие. Мои были серые. Эти — почти чёрные.

Я поднял руку и потрогал шрам на брови. Парень в воде сделал то же самое.

— Ну здравствуй, — сказал я ему.

Он сказал то же самое, одновременно со мной, чужим молодым голосом с хрипотцой.

Не знаю, сколько я так простоял. Солнце село, вода почернела, лицо в ней стало тенью. Внизу во дворе скрипнула дверь, кто-то вышел, звякнул кувшином о край колодца. Потом женский голос, резкий, немолодой, привыкший кричать через весь квартал, позвал снизу:

— Ала ад-Дин!

Я не шевельнулся. Имя было не моё.

— Ала ад-Дин! Сынок! Это ты там по крыше топаешь? Я же слышу, что ты! Слезай, ужин стынет, и где тебя шайтан весь день носил?

Обезьяна на моей шее открыла глаза, радостно пискнула и спрыгнула на лестницу. Лестница вела вниз, в тот самый двор, откуда кричали.

Я стоял на крыше дома, куда залез прятаться от стражи. И понимал уже, что это не чужая крыша.

Это была моя крыша. Мой двор. Мой ужин.

И женщина внизу звала своего сына.

Глава 2. Сын портного

Лестница была старая, из двух жердей и перекладин, привязанных к ним сыромятными ремешками. На третьей сверху перекладине нога сама собой пошла в сторону, на край, где ремешок держал крепче, и я понял, что тело ходило по этой лестнице тысячу раз. Оно знало, какая перекладина скрипит, а какая треснула прошлой весной.

Двор был маленький. Глухие глиняные стены, посреди двора узкий арык с тёмной водой, над арыком тутовое дерево, под деревом глиняный помост, застеленный вытертым ковриком. В углу печь, похожая на большой перевёрнутый кувшин, и от неё ещё тянуло теплом и хлебом. Две двери в дом, обе низкие. Над дверями навес на двух резных столбиках, а под навесом, в свете глиняной площадки с фитилём, стояла женщина.

Маленькая. Мне, новому, она была по плечо, прежнему не достала бы и до груди. Сухая, как ветка, в тёмном платье до пят и в платке, из-под которого выбивались седые пряди. Руки у неё были крупные, не по росту, с набухшими венами, какие бывают у тех, кто всю жизнь работает пальцами. Лицо тёмное, в мелких морщинах, а глаза острые, как иголки.

Она смотрела на меня так, что я остановился на последней перекладине.

— Ну? — сказала она.

Я молчал. Я не знал, как её зовут. Я не знал, что ей ответить. Я вообще ничего не знал, кроме того, что эта женщина считает меня своим сыном, а я не могу даже назвать её по имени.

— Весь квартал говорит, — сказала она, не повышая голоса, и от этого было хуже, чем если бы кричала. — Хафиза прибежала, говорит, твоего Иглу опять Туграл-бек по крышам гоняет, у дыньщика Умара весь навес проломил, три дыни раздавил. Три дыни! Мне Умар теперь на улице кланяться будет или плевать вслед? Ты мне скажи. Ты у меня умный. Ты скажи.

— Я заплачу за дыни, — сказал я.

Она замолчала. Посмотрела на меня внимательнее, прищурилась.

— Чем?

Я полез за пазуху, достал мешочек и высыпал на ладонь серебро и медь. Она посмотрела на монеты, потом мне в лицо, и выражение у неё стало такое, что я захотел немедленно спрятать деньги обратно.

— Это чьё?

Я не знал. Правда не знал. Кошелёк был у меня в зубах, когда я очнулся, и за мной гналась стража. Вывод напрашивался сам собой.

— Нашёл, — сказал я.

Врать я умею профессионально. Лучше, чем кто-либо из тех, кого знаю. Семь лет я облачал людей, которые врут за деньги, и ещё пятнадцать до этого врал сам: со сцены, с улыбкой, за гонорар. «Выберите любую карту». «В этом ящике ничего нет». «Я читаю ваши мысли». Я не краснею, не отвожу глаз, не трогаю лицо. Я знаю, как держать паузу и когда её сломать.

Эта маленькая женщина посмотрела на меня, и мне стало стыдно, как в третьем классе.

— Нашёл, — повторила она. — Ну да. На крыше, где же ещё. Спрячь. В дом краденое не носи, я тебе сто раз говорила. Отец твой, мир ему, сорок лет иголкой, медяк к медяку, а чужого в дом не взял ни ниточки. Спрячь, говорю, и садись есть. Остыло всё.

Я спрятал.

* * *

Есть пришлось на помосте под тутовником, сидя по-турецки, с непривычки неудобно. Колени ныли, спина хотела опереться хоть на что-нибудь. Она поставила передо мной глиня-

ную миску с похлёбкой, в которой плавал горох, морковь и лук, но не мясо, и положила рядом круглую лепёшку, плоскую в середине и пухлую по краям. Лепёшку я разломил пополам, и она посмотрела на меня так, будто я сделал что-то не то. Я замер. Она отобрала у меня обе половинки, сложила вместе, разломил сама, на четыре части, и одну протянула мне.

— Отец разламывает, — сказала она. — А отца нет, значит, я. Совсем голову потерял?

— Ударился, — сказал я.

Это была правда. Я ударился так, что потерял голову целиком, вместе с телом.

Она протянула руку и потрогала мне лоб. Ладонь у неё была шершавая, тёплая, пахла нитками и дымом.

— Жара нет, — сказала она недоверчиво. — Где ударился?

— С крыши упал.

— Кто спит на крыше, тот падает во двор, — сказала она. — Я тебе это с пяти лет говорю. Ешь.

Я ел. Похлёбка была пресная, без соли почти, горох недоварен. Я ел её, как не ел ничего в жизни. Тело было голодное с утра, а может, со вчерашнего дня, и оно заглатывало всё, что давали, не спрашивая меня. Обезьяна сидела рядом на краю помоста, смотрела мне в рот и время от времени протягивала лапу к лепёшке.

— Бакшиш! — Женщина шлёпнула её по лапе. — Опять на дастархан лезешь? Кыш! Кормлю его, кормлю, а он всё ворует. Весь в хозяина.

Значит, Бакшиш. Обезьяна обиженно отодвинулась и начала выбирать что-то у себя из шерсти.

— Спасибо, — сказал я, когда миска опустела.

По-русски. Само вырвалось. Я даже не заметил, пока не увидел, как она подняла голову.

— Что ты сказал?

— Это... — Я лихорадочно искал, что это. — Так в Хинде говорят. Когда благодарят. Мне обезьянщик сказал. Который Бакшиша продавал.

Она посмотрела на обезьяну, потом на меня. Бакшиш на всякий случай тоже посмотрел на меня.

— В Хинде, — сказала она. — Ну-ну.

Из-за стены, со стороны соседнего двора, донеслось:

— Сафия-апа! Сафия-апа, вернулся твой разбойник?

— Вернулся, Хафиза! — крикнула она в ответ, не оборачиваясь. — Живой, не радуйся! Сафия. Её звали Сафия.

Я сидел и повторял про себя это имя, как повторяют имя клиента перед выходом на сцену, чтобы не перепутать. Сафия. Сафия-апа. Мама.

— Мама, — сказал я вслух, чтобы попробовать.

Она подняла глаза от миски, которую уже начала вытирать куском лепёшки. Лицо у неё на миг стало мягким, совсем другим, и я понял, что прежний Ала ад-Дин называл её так нечасто.

А у меня внутри что-то оборвалось. Потому что последний раз я сказал это слово три года назад, в реанимации городской больницы, человеку, который меня уже не слышал.

— Чего? — спросила она.

— Ничего, — сказал я. — Спасибо за ужин.

На этот раз на правильном языке.

* * *

Спать я пошёл на крышу. Так здесь было принято летом: в доме душно, во дворе комары от арыка, а на крыше ветер. Сафия постелила мне стёганный тюфяк, толстый, пахнущий пылью, и сама легла внизу на помосте под тутовником, под кисейным пологом от комаров.

Я лёг на спину и увидел небо.

В Алматы неба нет. Там есть смог, огни, горы, которые видно в ясный день, и две-три звезды, которые не смогли погасить фонари. Здесь не было ни одного фонаря. Здесь было небо. Столько звёзд, что они казались не точками, а пылью, рассыпанной по чёрному бархату, и через всё небо шла мутная светлая полоса, как дым от костра, которую я видел раньше только на фотографиях. Млечный Путь. Он был такой яркий, что от него, кажется, падала тень.

Я лежал и смотрел на него очень долго.

Потом сел и занялся тем, чем занимаюсь всегда, когда мне плохо. Работой.

Опись. Что у меня есть.

Тело. Двадцать лет, если верить отражению, лёгкое, быстрое, выносливое. Руки ловкие, пальцы тонкие. Слабое место — рост: я промахиваюсь в прыжках, потому что мерю старыми ногами. Надо переучиться. Неделя, может две.

Язык. Понимаю всё, говорю свободно, даже ругаюсь, как выяснилось, когда засадил себе занозу, спускаясь с лестницы. Читать не умею. Писать, очевидно, тоже. Надо учиться.

Имя. Ала ад-Дин, сын портного Мустафы. Кличка — Игла. Мать — Сафия. Обезьяна — Бакшиш. Враги — стража во главе с человеком со шрамом, Туграл-беком. Друзья — неизвестно. Работа — вор, судя по всему, а судя по реакции матери — вор неудачливый.

Что я умею. Всё, что умел раньше. Голова осталась моя, и в голове осталось всё: история фокусов от египетских жрецов до Гудини, сотни трюков, приёмы холодного чтения, способы открыть любой замок, который можно открыть иглой, способы выбраться из верёвок, наручников и смиренной рубашки. Я знал, как собирать толпу и как держать её. Как заставить человека выбрать нужную карту и поверить, что выбрал сам.

Карт здесь нет. Я проверил: у торговцев на рынке, мимо которых бежал днём, я не видел ни одной колоды. Зато были монеты.

Я достал из мешочка медную, толстую, с неровным краем, положил на костяшки пальцев и попробовал прокатить. Старый трюк, с которого начинает каждый мальчишка, который хочет стать фокусником: монета бежит по костяшкам от указательного к мизинцу, переворачиваясь, как колесо, и возвращается обратно под ладонью.

Монета сорвалась на втором пальце и упала мне на колени.

Я поднял её и попробовал снова. Сорвалась на третьем.

Руки были ловкие, но не мои. Они умели хватать и прятать, выдёргивать кошелек из-за пояса и вынимать кольцо из шкатулки. Этим можно было жить. Но они не знали, как держать монету так, чтобы зритель её не видел. Они не знали техники. Их никто не учил.

На пятый раз монета прошла все пальцы и вернулась. На десятый я уже не смотрел на неё, а смотрел на Млечный Путь. На двадцатый почувствовал то, чего не чувствовал давно, с тех времён, когда был подростком и часами сидел перед зеркалом с колодой. Руки учились. Они были голодные и схватывали быстрее, чем мои прежние.

Хорошие руки мне достались. Воровские, быстрые, с цыпками. Если научить их тому, что знаю я, они будут лучше моих.

Я убрал монету и лёг.

И тогда меня накрыло.

Не сразу. Сначала я подумал про кофе. Просто про кофе, утренний, из маленькой турки, которую мне подарила подруга, имя которой я уже не помнил. Никакого кофе здесь нет и не будет. Потом про телефон, который кувырчался рядом со мной, пока я падал с Кукельдаша. Где он сейчас? Лежит разбитый на камнях под медресе? Кто-нибудь найдёт, увидит последнюю запись: бег, солнце, край кладки, небо, и кувыркающаяся стена. Кто-нибудь выложит. Будет много просмотров.

Потом я подумал про свою квартиру на Сатпаева, про кота соседки, которого кормил, когда она уезжала, про монтажёра, которому обещал сдать выпуск в понедельник. Про свой

канал. Про то, что никто, ни одна живая душа в том мире, не будет по-настоящему плакать обо мне. Друзья помянут. Подписчики напишут «покойся с миром». Экстрасенсы, которых я разоблачал, скажут, что это кара.

Мама бы плакала. Но мамы нет.

А здесь внизу, под тутовником, спала женщина, которая будет плакать о другом человеке. О сыне, которого, наверное, тоже больше нет. Который упал с крыши сегодня днём, в ту же секунду, что и я, и ушёл туда, куда уходят люди, а мне оставил своё тело, свою мать, свою обезьяну и, я очень скоро это узнаю, свои долги.

Я лежал, смотрел в небо и не плакал. Я вообще плачу редко. Просто лежал с открытыми глазами, и Млечный Путь медленно поворачивался надо мной, и было очень тихо.

Бакшиш пришёл под утро. Залез на крышу, потоптался, обнюхал моё лицо и устроился у меня на шее, как вчера. Тёплый, тяжёлый, с быстрым сердцем.

Под утро мне приснился сон, и сон был не мой. Мужские руки, большие, в мелких шрамах от иглы, держат кусок шёлка. На среднем пальце блестит напёрсток. Кто-то поёт, тихо и протяжно, мотив без слов, и под этот мотив хочется спать и не хочется просыпаться никогда.

* * *

Разбудил меня стук в калитку.

Стучали по-хозяйски: не кулаком, а чем-то тяжёлым, может рукоятью ножа, три раза, с паузами. Так стучат люди, которые не сомневаются, что им откроют.

Солнце только поднялось. Над крышами висел утренний дым, с минарета доплывал зов к молитве. Бакшиш с моей шеи исчез. Я перекатился к краю крыши и глянул вниз.

Сафия уже стояла у калитки, но не открывала.

— Кто?

— Свои, Сафия-апа, — сказал голос за калиткой, мужской, приторно-ласковый. — Сынок ваш нам нужен. На два слова.

Сафия обернулась и посмотрела наверх, прямо на меня. Взгляд у неё был такой, что я понял: она знает, кто это. И знает, зачем пришли.

Я спустился.

За калиткой стояли двое. Первый был невысокий, жилистый, лет тридцати, с лицом, изрытым оспой так густо, что оно казалось вылепленным из пористой глины. Одет он был чисто, почти щеголевато, в полосатый халат, за поясом нож с костяной рукоятью. Второй был огромный. Не толстый, а просто очень большой, как дверь или как шкаф, с круглым добродушным лицом ребёнка, растрёпанной бородой и руками, каждая из которых могла взять меня за голову целиком. Этот не смотрел ни на меня, ни на Сафию. Он смотрел на тутовник над стеной и жевал губами.

— Игла, — сказал рябой, улыбаясь. — Живой.

— Живой, — сказал я.

— Туграл-бек вчера всю махаллю на уши поставил. Ахмад, скажи.

— Поставил, — сказал огромный Ахмад, не отрываясь от тутовника.

— А мы подумали, — продолжал рябой, — вдруг не убежал. Вдруг поймали. Вдруг руку отрубили. И Абу-Хасан, да продлит Единый его дни, огорчился бы. Потому что рука эта, Игла, уже не совсем твоя. Рука эта наполовину его.

Он шагнул ближе. От него пахло розовым маслом и чесноком.

— Сорок динаров, Игла. Помнишь? Ты не помнишь, я вижу. У тебя лицо, как у барана перед праздником. Я напому. Чашу серебряную, персидскую, которую Ширмамат дал тебе отнести скупщику к Кешским воротам, помнишь? Которую ты не донёс? Потому что у Кривого

моста сел играть в кости с погонщиками? И проиграл? Чаша стоила сорок динаров, Игла. Не тридцать девять. Сорок.

Он взял меня за левое запястье, мягко, почти нежно, и провёл большим пальцем по белому шраму поперёк него. По тому самому, который я заметил вчера на крыше.

— Первый раз ты шрамом отделался, — сказал он тихо. — Второй раз не отделаешься. Абу-Хасан сказал: до новолуния. Новолуние через одиннадцать дней. Не принесёшь сорок динаров — оставишь рученьку. Так и сказал: рученьку. Ласково. Ты же его знаешь.

Я не знал. Но по тому, как ласково это было сказано, мне хватило.

— Одиннадцать дней, — повторил я.

— Считать умеешь, — обрадовался рябой. — Ахмад, он умеет считать.

— Умеет, — согласился Ахмад. Потом протянул руку над стеной, сорвал горсть белых ягод с нашего тутовника и отправил в рот. — Сладкие, — сказал он мне доверительно. — У вас тут всегда сладкие.

— Сорок динаров! — раздалось у меня за спиной.

Сафия стояла в дверях дома. В руке у неё был половник, и держала она его, как держат нож.

— Карим, — сказала она. — Ты меня знаешь. Я тебя знаю. Я знала твою мать, когда ты ещё в пелёнки гадил. Твоя мать, мир ей, пекла лепёшки на весь квартал, и никто никогда не сказал про неё дурного слова. Ты пришёл в мой дом и говоришь моему сыну про его руку. При мне. Уходи, Карим.

Рябой Карим перестал улыбаться. Потом снова заулыбался, ещё шире.

— Ухожу, Сафия-апа. Ухожу. Я только напомнить. — Он поклонился ей, приложив руку к груди, и повернулся ко мне. — Одиннадцать дней, Игла.

Они ушли. Ахмад на ходу сорвал с нашего тутовника ещё горсть.

Сафия стояла в дверях с половником. Потом медленно опустила его. Подошла к помосту, села на край, положила половник рядом с собой и сложила большие руки на коленях.

Я ждал, что она будет кричать. Ругать меня, плакать, бить половником, проклинать тот день, когда я родился. Это было бы нормально. С этим я бы справился.

Она не кричала. Она сидела и смотрела на арык.

— Сорок динаров, — сказала она наконец, очень тихо. — Я за покрывало для дочки ювелира, что вышиваю с весны, получу три дирхема. Три. Покрывало два локтя на три, золотой нитью по краю. Три дирхема. Сорок динаров — это восемьсот дирхемов. Это... — Она посчитала что-то на пальцах и перестала. — Это вся моя жизнь, сынок. Вся, до конца. И ещё немножко.

Я сел рядом с ней.

— Я найду.

— Где? — спросила она без злости. — На крыше?

Я не ответил. Мне нечего было ответить. В мешочке у меня было одиннадцать серебряных дирхемов и горсть меди. Меньше двенадцатой части долга.

— Отец твой, — сказала она, всё так же глядя на арык, — сорок лет иглой. Пришёл в Мараканду ни с чем, в одной рубахе. Я его за руки полюбила: руки у него были золотые. Шил так, что султанским вельможам не стыдно было в его халатах ходить. А сам в одном халате всю жизнь. Он говорил: Сафия, у нас нет денег, зато у нас нет долгов. Кто без долгов, тот свободный. — Она помолчала. — Хорошо, что он не видит.

Больше она ничего не сказала. Встала, взяла половник и пошла в дом.

* * *

Весь день я провёл во дворе. Я боялся выходить в город, пока не пойму хоть что-нибудь, и мне нужно было подумать.

Думать мешала жажда. Солнце к полудню встало так, что во дворе нечем было дышать, и я полез в дом искать воду. В доме были две комнаты, обе маленькие, с земляным полом, застеленным войлоком. Стены белёные, в стенах ниши, а в нишах посуда, свёрнутые одеяла, какие-то узлы и штук пять глиняных светильников, похожих на маленькие кувшинчики с носиками. У окна, затянутого промасленной бумагой, стояли пяльцы с вышивкой: золотые цветы по тёмно-красному шёлку. Покрывало для дочки ювелира. Три дирхема.

Воды в доме не было. Был большой кувшин у двери, пустой.

— Мама, где вода?

— Где всегда, — сказала она со двора. — В арыке.

Я вышел и посмотрел на арык. Вода в нём была мутная, желтоватая, и текла она через весь квартал, от дома к дому. Выше по течению, через два двора, женщина полоскала в ней бельё. Ещё выше, я видел это вчера, в неё спускались по ступенькам поить ослов.

Я знал про дизентерию. Про холеру. Про брюшной тиф. Про всё, от чего до изобретения водопровода умирала половина детей на свете.

— Я её сварю, — сказал я.

Сафия, которая сидела под навесом за пяльцами, подняла голову.

— Чего?

— Воду. Сварю. Вскипячу, остужу, потом пить.

Она отложила иглу. Посмотрела на меня долгим внимательным взглядом, каким смотрят на больного.

— Воду варить, — повторила она медленно. — Суп из неё будешь делать? Двадцать лет пил из арыка, ни разу не помер. А теперь варить.

— Так лучше, — сказал я неуверенно.

— Кто тебе сказал?

— Обезьянщик.

— Твой обезьянщик, — сказала Сафия, возвращаясь к вышивке, — дурак, и ты дурак, что его слушаешь. Дров нет варить воду. Дрова денег стоят.

Воду я всё-таки вскипятил. На тех немногих ветках, что лежали у печи, в закопчённом котелке. Она получилась тёплая, с привкусом дыма, и остужать её было не в чем. Я пил её, обжигаясь, и Сафия смотрела на меня из-под навеса и качала головой, а Бакшиш сидел на тутовнике и тоже, кажется, качал головой.

Вечером, когда жара спала, она отложила пяльцы, сходила в дом и вернулась с деревянной шкатулкой. Шкатулка была простая, потемневшая от рук, с крышкой на кожаной петельке. Сафия открыла её у себя на коленях. Внутри лежали мотки ниток, воск, ножницы, иглы, воткнутые в войлочную подушечку. И напёрсток. Медный, потемневший, старый, с какими-то мелкими насечками по ободку.

Она достала напёрсток и долго держала его в ладони. Не надевала, просто держала. Губы у неё чуть шевелились, но я не слышал, что она говорит. Потом она положила напёрсток обратно, закрыла шкатулку и унесла в дом.

Я ничего не спросил. Я смотрел ей в спину и почему-то вспоминал руки из сна. Большие руки в шрамах, шёлк и напёрсток на среднем пальце.

Когда стемнело, я забрался на крышу и сел считать.

Сорок динаров. Восемьсот дирхемов. Подёнщик на базаре получает, если я правильно понял разговоры за стеной, дирхем в день. Два года работы без выходных. Вышивальщица

— три дирхема за покрывало, которое шьют с весны. Вор, судя по всему, получает шрам на запястье.

Одиннадцать дней.

Я перебрал в уме все способы быстро заработать, какие знал. Украсть: этим, кажется, всё и кончилось в прошлый раз, и рука ещё помнит. Занять: у кого? Сбежать: куда, в чужом мире, с чужой матерью, которая останется отвечать за меня? Продать: нечего. Разве что обезьяну. Бакшиш, будто услышав, обиженно фыркнул и отвернулся.

Оставалось то, что я умел.

Я достал медную монету и прокатил её по костяшкам. Она прошла до мизинца и вернулась, не сорвавшись ни разу. Потом ещё раз. И ещё. Внизу, в соседнем дворе, кто-то играл на двухструнном инструменте, тихо и печально, и от его музыки сладко ныло под рёбрами.

Восемьсот дирхемов за одиннадцать дней. В Алматы я зарабатывал столько за один корпоратив.

Осталось найти корпоратив.

Глава 3. Фокусник с базара

— Туграл-бек будет искать, — сказала Сафия, когда я уже стоял у калитки.

Она сидела под навесом за пальцами и не поднимала головы. Золотая нить в её пальцах бежала по красному шёлку быстро и ровно, как ручей.

— Знаю.

— Он всегда находит. Три года тебя ищет, три года находит.

— Три года я от него ухожу.

Она подняла голову, посмотрела на меня, и я увидел, что она не спала ночью.

— Уходить и уйти — не одно и то же, сынок.

Я вышел.

Днём город выглядел иначе. Вчера я видел его на бегу, ключьями: стена, крыша, навес, дыни, чьё-то испуганное лицо. Сегодня я шёл медленно, глазами туриста, который заблудился и решил, что это к лучшему.

Улицы были узкие и кривые, зажатые глухими стенами. Посредине каждой бежал арык, через арыки были перекинута доски и плоские камни. Над стенами свешивались ветки тутовника и абрикосов, под ногами хрустели косточки: мальчишки ели абрикосы на ходу и плевали, где придётся.

Мужчины в стёганных халатах и чалмах, женщины с закрытыми лицами, с корзинами и кувшинами. Водонос с кожаным бурдюком на спине кричал «Во-о-да-а!» протяжно, как муэдзин. Погонщик вёл трёх верблюдов, и верблюды смотрели на меня сверху вниз с тем выражением, с каким смотрят на людей только верблюды и налоговые инспекторы.

Я остановился на мостике через большой канал и посмотрел вокруг.

На севере над городом поднимался холм, высокий, жёлтый, изрезанный оврагами. По его гребню тянулись остатки старых стен, развалины, одинокие башни. Внизу, у подножия холма, из зелени выглядывали купола какого-то кладбища. На западе, за крышами, вставала крепость на возвышении, стены с зубцами, над ними купол и знамёна. На юге и востоке крыши уходили до самого горизонта, и над ними висела пыль.

— Где тут Регистан, отец? — спросил я у старика, который удил рыбу в канале с таким видом, будто рыба ему должна.

— Там, — он ткнул удочкой через плечо. — Где ему быть. Ты что, с неба упал? В Мараканде живёшь, а Регистан не знаешь.

Он сказал «в Мараканде», и я запнулся.

Мараканда. Я знал это слово. Не отсюда, из другой жизни, из школьного учебника истории за пятый класс, где была картинка с Александром Македонским на коне и подпись под ней. Мараканда. Так греки называли Самарканд.

Я снова посмотрел на холм с развалинами. На крепость. На купола. И наконец увидел.

Видимо, наш Самарканд. Только лет на восемьсот моложе.

Без голубых куполов, к которым я привык по открыткам: их тут ещё не построили. Без туристов, без асфальта, без электричества. Город, который я видел однажды, с экскурсией, и который мне тогда не понравился, потому что было жарко и хотелось пить.

Сейчас тоже было жарко и хотелось пить. Но город мне нравился.

* * *

Регистан оказался огромной площадью, засыпанной песком. Отсюда и название, вспомнил я: «рег» — песок. Никаких медресе. По краям площади тянулись лавки и навесы, посре-

дине стоял дощатый помост высотой по грудь, с двумя столбами. На столбах висели верёвки. Я не стал спрашивать зачем.

Вся площадь шумела. Тут торговали всем сразу: лепёшками и медными котлами, ослими, тканью, пряностями, живыми курами и мёртвыми баранами. Под навесами сидели писцы и за медяк писали письма неграмотным. Цирюльник брил клиента прямо на земле, рядом другой цирюльник дёргал зуб, и клиент кричал так, что заглушал ослов. Над площадью, между двумя шестами, был натянут канат, и по нему шёл человек в красных шароварах, с шестом в руках, и под ним собиралась толпа.

А у самого помоста стоял дервиш.

Он был высокий, тощий, в лохмотьях, с копной седых волос и седой бородой до пояса. На голове у него была островерхая войлочная шапка, на шее висели бусы из костей, ракушек и деревянных палочек. Перед ним на земле горел маленький костёр, а вокруг стояла толпа человек в тридцать.

Дервиш взял из костра горящую палку, поднял её над головой, закатил глаза, что-то забормотал нараспев и медленно, очень медленно, опустил пылающий конец себе в рот.

Толпа ахнула.

Он сомкнул губы, подержал, вынул палку. Огонь погас. Из рта у дервиша вышла тонкая струйка дыма. Он снова закатил глаза и сказал громовым голосом:

— Огонь святых меня не жжёт! Кого огонь не жжёт, того Единый любит! Кого Единый любит, тот исцеляет!

Я стоял в задних рядах и улыбался.

Этот номер я знал. Я делал его сам, на корпоративе у одного нефтяника, пока мне не надоело мыть рот от сажи. Огонь не жжёт, если во рту много слюны, если выдохнуть в момент, когда пламя касается губ, и если не держать его там дольше, чем нужно, чтобы кончился воздух. Сомкнул губы — огню нечем дышать, он гаснет. Главное — не вдыхать. Всё остальное делает зритель, который видит огонь у рта и додумывает боль.

— Кто болен? — возгласил дервиш. — Кто хром, кто слеп, кто немощен? Выходи!

Из толпы вышел мужик на костылях. Молодой, крепкий, с одной ногой, подвёрнутой так неестественно, что на неё было больно смотреть. Он доковылял до дервиша, упал перед ним на колени и завыл.

Дервиш положил ему на голову обе ладони. Забормотал. Затрясся. Толпа замерла. Мужик на коленях задрожал тоже, сначала мелко, потом всем телом, и вдруг вскочил, отбросил костыли, выпрямил ногу и закричал:

— Хожу! Люди, хожу!

Толпа взревела. Люди полезли в пояса за деньгами, в деревянную миску у ног дервиша застучали медяки, кто-то бросил серебро. Женщина рядом со мной заплакала от счастья.

Я смотрел на мужика, который бегал теперь вокруг костра и благодарил небо. Смотрел, как он ставит ногу. Как держит спину. Как бежит: легко, привычно, ни разу не посмотрев вниз. Человек, который только что исцелился от хромоты, смотрит на свои ноги. Не может не смотреть. Этот не смотрел, потому что его ноги работали всегда.

Я знал этот номер лучше, чем огонь во рту. Я семь лет снимал его на видео.

Но сначала мне нужны были деньги.

* * *

Три глиняные чашки я выпросил у гончара с краю площади, пообещав ему четверть сбора. Гончар был толстый и ленивый, и чашки у него всё равно никто не покупал. Шарики скатал из мякиша вчерашней лепёшки, которую Сафия дала мне в дорогу. Четыре абрикоса

купил за медяк у мальчишки-разносчика, тощего, босого, с огромной плетёной корзиной на плече.

— Зачем четыре? — спросил мальчишка. — Бери десять, дешевле выйдет.

— Мне четыре, — сказал я. — Как тебя зовут?

— Джура.

— Джура, хочешь посмотреть на чудо?

— Нет, — сказал Джура и ушёл продавать абрикосы дальше.

Я сел на песок у стены, поставил перед собой чашки донышками вверх, положил в ряд три шарика из мякиша и сказал громко, чтобы слышали рядом:

— Кто хочет посмотреть, куда уходит хлеб?

Самое трудное — первые зрители. Потом они приводят остальных. Двое мальчишек присели на корточки напротив меня, старик с палкой остановился посмотреть, что за дурак сидит на солнце с пустыми чашками. Мне хватило.

Чашки и шарики — самый старый фокус на свете. Его показывали египетские жрецы, римские бродяги и шуты на ярмарках. Я знал сорок его вариантов.

Руки у меня были новые, но голова старая, а вчерашняя ночь с монетой не прошла даром. Первые движения я делал медленно, боясь сорваться. Потом пошло. Шарик прятался между пальцами, возвращался, переходил из-под чашки под чашку. Мальчишки кричали: «Там! Нет, там!» Старик с палкой перестал опираться на палку. Подошли ещё люди. Потом ещё.

Я говорил не переставая. Это тоже часть фокуса: пока люди слушают, они смотрят туда, куда говорит голос, а не туда, куда идут руки.

Под финал я поднял все три чашки разом, и под каждой лежал абрикос.

Толпа замолчала на секунду, а потом взорвалась. Старик с палкой хохотал, хлопая себя по коленям. Мальчишки лезли смотреть под чашки, трогали абрикосы, нюхали их. Один откусил. Абрикос был настоящий.

Четвёртый я съел сам, на глазах у всех, не торопясь. Толпа захохотала снова.

Медяки падали на песок передо мной. Немного, но падали.

Потом я сделал то, ради чего был весь этот номер.

— А теперь, — сказал я, — я скажу одному из вас, кто он такой, хотя вижу его в первый раз.

Я выбрал мужчину в третьем ряду. Лет сорока, коренастый, в кожаном фартуке поверх халата. Руки у него были в мелких белых ожогах, старых и свежих. Под ногтями, ввевшаяся в кожу, темнела зелень: медь. На шее, на шнурке, висел новенький треугольный амулет в серебряном футляре, ещё блестящий, неношенный. Лицо было серое, как у человека, который не спит несколько ночей подряд.

Холодное чтение — это не магия. Это внимание. Люди носят свою жизнь на себе, как одежду, надо только уметь её читать.

— Ты работаешь с медью, — сказал я. — Кувшины куёшь или котлы. Давно, лет двадцать.

Он вздрогнул. Толпа загудела.

— У тебя дома кто-то болен. — Амулет, новенький, дорогой для медника, и бессонные ночи. — Ребёнок. Дочь. — Это был риск. Амулеты от сглаза вешают на детей, а сыну он купил бы что-нибудь другое. — Ты купил ей оберег, но не надел на неё, а носишь сам. Боишься снять, чтобы не сглазили.

У медника задрожали губы. Он поднял руку и накрыл амулет ладонью.

— Откуда ты знаешь? — хрипло спросил он.

— Знаю, — сказал я. И, помолчав, тихо, чтобы слышал только он: — Отведи её к лекарю, отец. К настоящему. Не к святым.

Он смотрел на меня так, будто я открыл ему дверь, о которой он не знал. Потом полез за пояс, достал серебряный дирхем, положил на песок и ушёл, не оглядываясь.

Толпа гудела. Деньги падали. И тут над толпой прогремел голос:

— Колдун! Шайтанов сын! Люди, не слушайте его, он с джиннами знается!

Толпа раздалась. Передо мной стоял дервиш, тот самый, с костяными бусами, и тряс бородой. За его спиной маячил исцелённый, уже без костылей.

— Ты у меня людей увёл, — прошипел дервиш вполголоса, для меня. А громко, для всех, снова заревел: — Он колдун! Он хлеб в абрикосы превращает шайтановой силой!

— Нет, почтенный, — сказал я и встал. — Это не шайтанова сила. Это ловкость рук. Могу показать, как делается. А вот ты, почтенный, людей обманываешь.

Толпа ахнула. Дервиш побагровел.

— Я огонь глотаю!

— Огонь глотать может каждый, кто знает, как, — сказал я. — Одолжи-ка палку.

Я выхватил у него из костра горящую ветку, прежде чем он успел возразить, показал толпе, набрал в рот слюны и медленно опустил пламя к губам. Выдохнул, сомкнул губы, подержал. Вынул. Выпустил струйку дыма.

— Видели? — сказал я, вытирая рот. — И меня Единый любит? Я вчера у дыньщика Умара три дыни раздавил. Меня Единый не может любить.

Толпа захохотала. Кто-то крикнул: «Точно, Игла! Мне Умар сам рассказывал!»

— А хромой твой, почтенный, — продолжал я, повернувшись к исцелённому, — сколько раз он у тебя исцеляется? Раз в неделю? Раз в три дня?

— Точно! — крикнула вдруг какая-то женщина в синей накидке. — В прошлый четверг его тоже исцеляли! Я видела! У бани! Он тогда на левую ногу хромал!

— На правую! — возразил кто-то.

— На левую! Я сама видела!

Исцелённый посмотрел на свои ноги, растерянно, как будто пытался вспомнить, на которую хромал в прошлый четверг. Потом развернулся и побежал. Бежал он очень хорошо. Толпа проводила его свистом и хохотом.

Дервиш стоял передо мной, и глаза у него были страшные, белые от ненависти.

— Я тебя запомнил, Игла, — сказал он тихо. — Огонь, говоришь, не жжёт? Посмотрим.

Он собрал свою миску, свои бусы, свой костёр и ушёл через площадь, не оглядываясь.

Рядом со мной кто-то откашлялся.

Это был невысокий полный человек в добротном халате, с аккуратной бородкой, с медной бляхой на груди и связкой гирь на поясе. Гири были разные: большие, как кулак, и маленькие, как орех, на кожаных ремешках. За ним стояли два стражника с палками.

— Торговля без места, — сказал он скучным голосом. — Зрелища без разрешения. Смута на базаре. Мухтасиб Хамид, смотритель рынка. — Он протянул ладонь. — Половину.

Я посмотрел на ладонь. Потом на стражников. Потом отсчитал ему половину.

Мухтасиб ссыпал медь в кошель, подбросил на ладони серебряный дирхем медника, попробовал его на зуб и тоже сунул себе.

— Дирхем был не половиной, — сказал я.

— Дирхем был штрафом за смуту, — сказал мухтасиб. — Скажи спасибо, что не палки.

Он пошёл дальше, позвякивая гирями. Гири на ходу бились друг о друга, и одна, самая большая, звякала как-то не так. Тоньше, чем должна была.

Я запомнил этот звук.

* * *

В полдень ударили барабаны.

Сначала далеко, у крепости, потом ближе. Над площадью покатылся голос глашатая, усиленный медным рупором:

— Дорогу! Дорогу! Сегодня светлейшая госпожа Бадр аль-Будур, дочь повелителя, да продлит Единый его дни, изволит идти в баню! Лавки закрыть! Улицы очистить! Кто встанет на пути, кто поднимет глаза на носилки светлейшей, тому глаза долой!

Площадь заволновалась. Торговцы бросились закрывать ставни и сворачивать навесы. Цирюльник бросил недобритого клиента, и тот побежал за ним с намыленной щекой.

— Это что, всегда так? — спросил я у гончара, отдавая ему чашки и его долю.

— Раз в неделю, — сказал гончар, сгребая медяки. — Баня у неё. Весь город из-за одной бани. — Он понизил голос. — Говорят, красивая. Никто не видел, а говорят. Глаза, говорят, как у матери. А мать её, знаешь...

Он не договорил и быстро ушёл.

Я собрал оставшиеся медяки, пересчитал. Два дирхема и горсть меди. После мухтасиба. Сорок динаров минус почти ничего.

Площадь пустела на глазах. Я пошёл к её восточному краю, туда, где кончались навесы и начинался фруктовый ряд, узкий проход между глухими стенами, заставленный пустыми корзинами. Здесь уже никого не было. Только в самом конце ряда, у поворота, кто-то кричал.

Кричал ребёнок.

Я прибавил шаг. За поворотом, у стены, стоял мухтасиб Хамид со своими двумя стражниками. Перед ним на коленях был Джура, мальчишка с абрикосами. Его корзина валялась на земле, абрикосы рассыпались по пыли, и стражник наступал на них, давя сапогом, лениво, как давят муравьёв. Второй стражник держал Джуру за волосы.

— Обвес, — говорил мухтасиб своим скучным голосом. — Твой ман легче городского на пять мискалей. Пять мискалей обвеса. Десять палок.

Джура плакал и мотал головой.

— Он не обвешивал.

Голос был женский, молодой и очень уверенный.

Между мухтасибом и мальчишкой стояла девушка. Высокая, прямая, в простом тёмно-синем платье служанки и в накидке, из-под которой были видны только глаза. Серые. Я никогда не видел здесь серых глаз.

— По закону, почтенный, — продолжала она, — прежде чем обвинять продавца в обвесе, ты должен сверить его гири с городской меркой, что хранится у кади. При двух свидетелях. Где мерка? Где свидетели?

Мухтасиб посмотрел на неё с удивлением, как смотрят на заговорившую кошку.

— Ты кто такая, чтобы меня законам учить?

— Я та, кто знает законы. А ты, я вижу, их не знаешь.

Это было сказано так, как говорят люди, которым никогда в жизни никто не возражал. Не служанки.

Мухтасиб это тоже услышал. Он шагнул к ней, схватил за запястье, дёрнул к себе. Накидка сползла с её руки, и я увидел руку: тонкую, белую, никогда не знавшую ни стирки, ни печи. На среднем пальце темнело пятно от чернил. А на запястье блестел браслет, серебряный, с бирюзой.

Мухтасиб тоже увидел. Лицо у него изменилось.

— А ну, — сказал он стражникам медленно, — держи её. Посмотрим, чья это служанка с такими руками.

Я не собирался вмешиваться. У меня было два дирхема, одиннадцать дней и полгорода врагов.

— Мир вам, почтенный Хамид, — сказал я, выходя из-за угла. — А давайте и ваши гири проверим?

Мухтасиб обернулся. Я шёл к нему, улыбаясь самой глупой улыбкой, какую умею, и развёл руки в стороны, показывая, что они пустые. Он раздражённо махнул на меня, я споткнулся, будто случайно, и налетел на него, и мы оба чуть не упали.

— Простите, почтенный! — закричал я, хватая его за плечи, чтобы удержать. — Ноги не держат, с утра не ел!

Когда я его отпустил, самая большая гиря с его пояса была у меня в рукаве.

Я подошёл к Джуре, поднял с земли его весы, простые, самодельные, с двумя медными чашками на коромысле. Положил на одну чашку гирю Джеры, маленькую, грубо отлитую, с выбитым клеймом. Потом вытряхнул из рукава гирю мухтасиба, показал её всем, покрутил, чтобы все видели бляху с его клеймом, и поставил на другую чашку.

— Ман против мана, — сказал я. — Ман мальчишки против мана мухтасиба.

Чашка мухтасиба поднялась вверх. Гиря Джеры перевесила.

Из-за ставней, из-за дверей, из-за стен фруктового ряда выглядывали лица. Торговцы. Они всё видели.

— Звенит тонко, — сказал я, постучав по гире ногтем. — Внутри пустая, почтенный. Ты такими гирями проверяешь чужие ман? Значит, у кого ни проверишь, у всех обвес? У всех штраф? И всё — тебе?

Кто-то за ставнями захохотал. Кто-то крикнул: «Я же говорил! Я говорил, он жулик!» Кто-то засвистел.

Мухтасиб Хамид стал малиновым, потом белым.

— Взять! — заорал он стражникам. — Обоих! Вора и девку!

Стражник, державший Джору за волосы, отпустил мальчишку и кинулся ко мне. Я кинул ему в лицо горсть абрикосов из корзины, он зажмурился. Второй схватил девушку за плечо. Я перехватил его руку, вывернул большой палец, он взвыл и отпустил. Я схватил девушку за руку.

— Бежим!

— Куда?

— Наверх!

Она не спросила зачем. Она подобрала подол платья и побежала за мной, и когда мы добежали до стены, где к ней была прислонена лестница, по которой торговцы затаскивали на крыши корзины, она полезла по лестнице первой. Легко, быстро, ни разу не оступившись. Как человек, который уже лазил по крышам. Как человек, который делает это не в первый раз.

Я полез следом и на верху лестницы оттолкнул её ногой. Лестница упала на стражников.

* * *

Мы бежали по крышам.

Она не отставала. Прыгала через разрывы между домами и придерживала накидку на лице одной рукой, а я держал её за другую. Через пять крыш крики позади пропали.

Мы остановились на плоской крыше какого-то большого дома, под раскидистой шелковицей, которая росла из двора и нависала над крышей шатром. Внизу было тихо. Где-то капала вода.

Она прислонилась к стволу и засмеялась. Задышавшись, держась за бок, запрокинув голову. Смех у неё был низкий, грудной, совсем не такой, как я ожидал.

— Ты сумасшедший, — сказала она, отдышавшись. — Ты мухтасиба при всём базаре... Гири... Пустая гиря!

— Он весь город так грабит, — сказал я. — Я вчера слышал, как торговцы на него жаловались.

— Как ты узнал, что пустая?

— По звуку. Когда он шёл, гири бились друг о друга. Одна звенела тоньше, чем должна. Полая медь звенит выше, чем сплошная.

— По звуку, — повторила она и посмотрела на меня. Над накидкой были только глаза, но глаза были очень выразительные. Серые, с тёмным ободком, внимательные. — Ты не похож на вора.

— Откуда ты знаешь, что я вор?

— Стражники звали тебя Иглою. Кого стражники зовут по кличке, тот вор. — Она склонила голову. — Игла. Это портновское имя.

— Отец был портной.

— А ты?

— Сегодня фокусник, — сказал я. — Вчера был вор. Завтра не знаю.

Она опять засмеялась.

— А тебя как зовут?

Она помедлила. Совсем чуть-чуть.

— Лейла. Я служанка.

Врала она плохо. Я семь лет смотрел, как врут люди, и видел: пауза перед ответом, взгляд вверх и влево, рука, которая сама потянулась поправить накидку. Служанка, которая знает законы о мерах и весах лучше мухтасиба. Служанка с белыми руками и пятном чернил на пальце. Служанка, которая лазит по крышам, как мальчишка.

Я не стал её разоблачать. Первый раз в жизни не стал.

— Лейла, — сказал я. — Хорошо.

— Ты говоришь странно, — сказала она. — Как иностранец. Ты сказал «ноль шансов», когда мы прыгали. Что такое «ноль»?

Я сказал «ноль шансов»? Наверное. Вслух, на бегу.

— Это значит ничего, — сказал я. — Пустое место.

— Пустое место, — повторила она задумчиво. — Индийские учёные рисуют такое кружком. Пустое место, которое что-то значит. — Она подняла на меня глаза. — Ты читал индийских учёных?

— Я не умею читать.

Она посмотрела на меня так, будто я её обманул.

И тут снизу, с улицы, донеслось:

— Лейла! Лейла, дочь шайтана, где ты? Лейла!

Голосов было несколько. Мужские, высокие, почти визгливые, и один женский, плачущий. По улице внизу бежали люди, заглядывали в переулки, в подворотни. В голосах было не раздражение, с каким ищут сбежавшую служанку. В голосах был ужас.

Девушка вздрогнула и выпрямилась.

— Мне пора, — сказала она быстро. — Спасибо, Игла. Спасибо за Джуру. И за гирю.

— Подожди...

Она уже была на краю крыши. Глянула вниз, выбрала место, повисла на руках и спрыгнула во двор. Я подбежал к краю. Двор был пустой. Только хлопнула калитка на другой его стороне и простучали по камням лёгкие шаги.

Я стоял на краю крыши и смотрел на калитку.

Потом разжал левый кулак.

На ладони лежал браслет. Серебряный, тяжёлый, с пятью бирюзовыми камешками в гнездах. По внутренней стороне бежала гравированная надпись вязью, которую я не мог прочитать.

Я не помнил, как его взял. Честное слово, не помнил. Я держал её за руку, пока мы бежали. Держал долго. Пальцы сами нашли застёжку, сами расстегнули, сами сняли. Без меня.

У меня горели уши.

Руки у этого тела воровали быстрее, чем я успевал подумать.

Глава 4. Сорок

Ждать, пока долг придёт за мной сам, я не стал. У меня была старая привычка, ещё из той жизни: если банк звонит тебе, ты должник, а если ты звонишь в банк, ты клиент.

Где искать Сорок, я не знал. Но утром, выйдя за калитку, я просто перестал думать, куда иду, и позволил ногам вести. Ноги знали. Они провели меня через квартал, по мостику через ручей, вверх по кривой улице, которая становилась всё пустыннее и круче, пока не упёрлась в склон холма. Того самого, жёлтого, с развалинами по гребню.

На нижнем склоне, среди разрушенных стен и зарослей колючки, стояла баня. Старая, с тремя куполами из обожжённого кирпича, в куполах светились круглые дыры, а из одной дыры шёл пар. Вход закрывала потёртая кожаная занавесь. У занавеси на корточках сидел мальчишка лет двенадцати и строгал палочку ножом. Увидев меня, он перестал строгать.

— Игла пришёл, — сказал он в занавесь, не оборачиваясь.

— Пусть заходит, — ответил из глубины ласковый голос. — Пусть заходит, дружок. Раз пришёл.

Внутри было жарко и сыро, пахло мокрым камнем, мылом и розовой водой. Свет падал сверху, из дыр в куполе, столбами, в которых клубился пар. В первом зале на лавках сидели и лежали человек десять, все в полотенцах, все с ножами, заткнутыми за полотенца. Кто-то играл в кости, кто-то спал, кто-то стриг ногти. Рябой Карим сидел у стены и точил свой нож о камень. Малыш Ахмад лежал на лавке, закинув руки за голову, и занимал её целиком.

Во втором зале, самом жарком, посредине стоял огромный восьмигранный каменный помост, и на помосте, на расстеленной простыне, лежал толстый человек. Совершенно лысый, розовый от пара, с мягкими белыми руками и тремя подбородками. Жилистый старик разминал ему плечи. Рядом на скамеечке, подобрав одну ногу, сидел хромой писец с толстой книгой в кожаном переплёте на коленях.

— Абу-Хасан, — сказал я.

— Дружок, — сказал толстый человек, не открывая глаз. — Сам пришёл. Юнус, запиши: Игла сам пришёл. Первый раз за три года. Раньше плакать приходил, мать присылал. А теперь сам. — Он приоткрыл один глаз. — Деньги принёс?

— Нет.

— Жаль. — Глаз закрылся. — Тогда зачем пришёл? Попрошаться с рученькой?

— Работу просить.

Абу-Хасан помолчал. Старик-массажист перешёл с плеч на поясницу, и атаман блаженно хрюкнул.

— Юнус, — сказал он. — Ты слышал? Работу просить. Раньше Игла всё больше в кости просил. Или в долг. — Он наконец открыл оба глаза и повернул голову ко мне. Глаза у него были маленькие, светлые и совсем не ласковые. — Говорят, ты вчера мухтасиба Хамида на базаре проверил. По гилям.

— Проверил.

— Туграл-бек вечером заходил. Спрашивал, кто это у меня такой умный. Я сказал: не знаю, Туграл-бек, у меня умных нет, у меня только честные. — Он хмыкнул. — Хамида весь базар ненавидит, но гилю у него снять — это ты хорошо. Ловко. Раньше ты так не умел. Раньше ты больше падал.

— Научился.

— За два дня?

— Жизнь заставила.

Абу-Хасан долго смотрел на меня, и я выдержал его взгляд. Потом он приподнялся на локте, и массажист отступил.

— Есть одна работа, — сказал он. — Для умного. Дом у канала Даргом, знаешь чей? Я не знал. Но по тому, как у Юнуса дёрнулся угол рта, понял, что знать должен.

— Бахадур, сын великого визиря Мансура, да продлит Единый дни обоим. У Бахадура в доме есть ларец. Чёрного дерева, с перламутром, вот такой. — Он показал руками что-то размером с коробку для обуви. — Один уважаемый человек хочет этот ларец. Кто он — не твоё дело. Что в ларце — тоже не твоё. Принесёшь его мне закрытым, нетронутым — и я вычеркну тебя из книги. Все сорок динаров. Попадёшься — я тебя не знаю, никогда не видел, и рученьку тебе отрубят уже не Карим, а кади, по закону, при всём Регистане.

— Сорок динаров и пять сверху, — сказал я.

Юнус уронил калам. Абу-Хасан засмеялся, и живот у него запрыгал.

— Пять сверху! Слышал, Юнус? Пять сверху! — Он отсмеялся и вытер глаза краем простыни. — Нет, дружок. Сорок динаров и живым уйдёшь. Пять сверху — это жадность. А жадность — грех. Я грешников не люблю.

— Тогда два сверху.

— Ноль сверху, — сказал Абу-Хасан, всё ещё улыбаясь. — Иди. Работай. А то передумаю.

«Ноль сверху», подумал я, выходя. Ноль у них здесь, оказывается, есть. Только не у всех.

* * *

Дом Бахадура я нашёл к полудню. Его было трудно не найти: весь квартал у канала Даргом был квартал больших домов, но этот был больше всех. Стена в два человеческих роста, свежепобелённая, с зубцами поверху. Над стеной верхушки чинар, виноградные шпалеры и деревянная башенка, из которой доносился клекот. Соколятня. Ворота резные, высокие, окованные медью, у ворот двое стражников с копьями.

Я обошёл стену кругом. С задней стороны была калитка поменьше, для слуг, и у калитки на скамейке дремал старик с палкой. Со стороны канала стена спускалась прямо к воде, и там, на каменных ступенях, служанки брали воду кувшинами.

Я сел на ступени чуть поодаль и стал ждать.

Служанки приходили и уходили. Я выбрал одну: не самую красивую, не самую молодую, лет двадцати пяти, с усталым лицом и красными от стирки руками. Она пришла одна, поставила кувшин, села на ступеньку передохнуть. Я подсел, заговорил о жаре. Потом о воде в канале, которая в этом году ниже. Потом о хозяевах, которые не видят, как тяжело носить кувшины наверх в такую жару.

Холодное чтение работает не только на базаре. На ступенях у канала оно работает даже лучше, потому что никто не смотрит.

Через четверть часа я знал, что хозяин молодой, красивый и злой. Что сегодня вечером он на пиру у сына кади и вернётся поздно, пьяный, как всегда по четвергам. Что собак, двух огромных волкодавов, кормят на закате и отпускают на ночь во двор. Что старик у задней калитки пьёт вино из кувшина, который прячет под скамейкой. Что у хозяина наверху, над спальней, есть комната с книгами, куда никого не пускают, даже чтобы подмести, и что туда иногда заходит сам великий визирь, когда приезжает к сыну. Приезжает он поздно, через заднюю калитку, и уезжает до рассвета.

— Зачем визирю ходить к сыну через заднюю калитку? — удивился я вслух.

— Кто их знает, — сказала служанка и вздохнула. — Большие люди. У больших людей и дела большие.

Она ушла с кувшином на плече, а я остался сидеть.

Через некоторое время ворота распахнулись, и из них выехал всадник. Молодой, высокий, широкоплечий, в шёлковом халате цвета персика. Чёрные кудри из-под маленькой чалмы

с пером. Усы, закрученные кверху. На левой руке, в кожаной перчатке до локтя, сидел сокол в клубочке. Конь под ним был серый в яблоках, тонконогий, горячий, и приплясывал на месте. За всадником выехали ещё трое молодых людей, попроще, и слуга с корзиной.

— Бахадур! — крикнул один из свиты. — На Чупан-ату?

— Куда же ещё! — захохотал всадник и дал коню шенкелей.

Он был очень красив. Как реклама мужских духов на остановке. Кудри, усы, зубы, сокол. Конь рванул вдоль канала, и на повороте старуха с корзиной лепёшек еле успела отскочить к стене. Лепёшки посыпались в пыль. Бахадур даже не обернулся. Свита, проезжая мимо старухи, захохотала.

Я помог старухе собрать лепёшки. Потом пошёл на рынок и на два своих дирхема купил мяса.

* * *

Ночь была безлунная. Новолуние приближалось, и месяц уже истончился в нитку, которая взошла под утро и ничего не освещала.

К задней стене дома Бахадура с улицы подступала старая чинара. Её ветки тянулись через стену во двор. Я забрался на чинару, прополз по толстой ветке и лёг на гребень стены, между зубцами. Под стеной, во дворе, было тихо. Потом загремела цепь, и из темноты вылетели две тени, огромные, лохматые, лобастые, и остановились подо мной. Волкодавы. Они не лаяли. Такие собаки не лают. Они смотрели вверх и ждали.

Я достал из-за пазухи мясо, завернутое в лопух, и бросил вниз одному, потом другому. Потом начал говорить. Не громко, ровно, на одной ноте, тем голосом, каким говорят с напуганной лошастью или с пьяным на улице: ничего, ничего, хорошие, ешьте, я никуда не бегу, я свой.

Главное с собаками — не бежать и не бояться. Бояться я боялся, но они этого не знали.

Когда мясо кончилось, один волкодав лёг и положил голову на лапы. Второй ещё постоял, потом ушёл в темноту. Я выждал сколько-то и спустился по стене во двор. Лежащий волкодав поднял голову, посмотрел на меня и опустил обратно.

Дом был двухэтажный. На втором этаже темнели окна, закрытые резными решётками. Я залез по виноградной шпалере на плоскую крышу. На крыше был люк в дом, деревянный, с крышкой. Изнутри он запирался на засов, но засов был старый, и между досками была щель. Я просунул в щель тонкую палочку, подцепил засов и отодвинул.

Комната с книгами оказалась прямо подо мной.

Здесь было душно, пахло пылью, воском и бумагой. На полках вдоль стен лежали свитки и толстые книги в кожаных переплётках. У стены стоял сундук, окованный медью, на низком столике — медная чернильница, калам, песочница. Я зажёл огниво на мгновение, огляделся и тут же погасил.

Ларец стоял на полке над сундуком. Чёрное дерево, перламутровые звёзды по крышке, маленький медный замочек.

Я снял его с полки. Он был тяжёлый. Не как ларец с золотом, но тяжёлый.

Дверь из комнаты вела на лестницу. Дверь была заперта. Деревянный замок с зубчатым ключом, такие я видел в музее в Каире: засов с отверстиями, в которые снаружи падают штырьки, и ключ, который их поднимает. Я достал из шва рубахи иглу, отцовскую, как сказала мне утром Сафия, отдавая её, и кусок медной проволоки. Поднял штырьки по одному. Засов отошёл.

Я уже спускался по лестнице, когда внизу хлопнула дверь.

— Вина! — заорал пьяный голос. — Вина, собачьи дети! И лампу! Где лампа?

Бахадур вернулся раньше.

Я метнулся обратно наверх, в комнату с книгами, закрыл за собой дверь. Внизу топали, смеялись, звенели посудой. Женский голос хихикал. Потом шаги поднялись по лестнице и прошли мимо моей двери, в соседнюю комнату, в спальню, судя по звукам. Хлопнула дверь, за скрипела кровать.

Я стоял в темноте, прижимая к груди ларец, и ждал. В соседней комнате хохотали и возились. Потом что-то разбилось. Потом стало тише.

Дверь спальни открылась. В коридор вышла девушка, босая, в одной рубашке, с распущенными волосами. Танцовщица, судя по браслетам на щиколотках. Она подошла к кувшину с водой, стоявшему в нише, напилась и повернулась, чтобы идти обратно.

И увидела мою ногу. Я не закрыл дверь до конца, а мои ноги в щели было видно.

Мы смотрели друг на друга: она на мою ногу, я на неё через щель. Потом она очень медленно подмигнула. Приложила палец к губам. И ушла обратно в спальню.

Я выдохнул.

Прошло ещё сколько-то. Потом в спальне снова за скрипела кровать, Бахадур грубо захохотал, и дверь опять распахнулась.

— Лампу я сам возьму, — сказал он. — Раз вы все, собаки, спите. В кабинете есть лампа.

Он пошёл к моей двери. Я слышал его шаги, тяжёлые, неровные. Взялся за засов. Засов был отодвинут.

— Кто открыл? — спросил Бахадур удивлённо и совсем трезво.

Я прыгнул к люку.

Дверь распахнулась, когда я уже подтягивался на крышу. В проёме стоял Бахадур в одной длинной рубахе, босой, с растрёпанными кудрями, и в руке у него была сабля. Где он её взял так быстро, я не понял. Он увидел меня, увидел ларец у меня под мышкой и заорал так, что у меня зазвенело в ушах:

— Вор! Вор в доме!

Я выскочил на крышу. Он полез за мной. Надо отдать ему должное: пьяный, босой, в одной рубахе, он лез по лестнице к люку с саблей в зубах, как пират. Наверху он выпрямился и пошёл на меня по крыше, держа саблю перед собой.

Я отступал. Крыша была большая, я обошёл люк кругом. Он шёл за мной. Я обошёл ещё раз, быстрее. Он тоже прибавил. На третьем круге я поравнялся с люком, а он оказался с другой стороны, в трёх шагах.

Я прыгнул в люк.

Упал на пол комнаты с книгами, перекатился, вскочил и задвинул засов изнутри, прямо у него перед носом. Наверху бухнули кулаком по крышке, потом саблей. Доски выдержали. Я достал из кармана гвоздь, который подобрал ещё днём на улице, вбил его рукоятью огнива в щель над засовом, загнул. Теперь засов не отодвинуть ни снаружи, ни изнутри, пока не выдернешь гвоздь клещами.

Наверху бушевали.

— Открывай! Открывай, собака! Эй, кто-нибудь! Сюда! Я на крыше!

По лестнице снизу уже бежали слуги. Я вышел им навстречу из комнаты с ларцом под мышкой и закричал, показывая наверх:

— Там! Вор на крыше! Хозяина держит!

Слуги пробежали мимо меня вверх, а я вниз. Во дворе проснулся второй волкодав, поднял голову, посмотрел на меня. Я кивнул ему, как старому знакомому, и полез через стену.

Уже на чинаре я оглянулся. На крыше дома, в свете факелов, которые зажигали внизу слуги, металась белая фигура в длинной рубахе и орала так, что по всему кварталу начали открываться ставни. Слуги дёргали засов изнутри и никак не могли его открыть. Кто-то побежал за лестницей.

Лестница, судя по крикам, нашлась к рассвету.

* * *

В бане в этот час было пусто. Спали на лавках, храпели, от пара остался только запах. Абу-Хасан сидел на своём восьмигранном помосте, уже одетый, в стёганом халате, и ел виноград. Юнус с книгой сидел рядом.

Я поставил ларец на помост.

Абу-Хасан посмотрел на ларец, потом на меня. Взял виноградину, прожевал.

— Весь Даргом уже знает, — сказал он. — Мальчишка прибежал. Бахадур, сын визиря, до рассвета стоял на крыше собственного дома в одной рубахе и лаял, как собака. А соседи на своих крышах смотрели и смеялись. — Он помолчал. — Туграл-бек уже там.

— Бахадур меня видел, — сказал я. — Но темно было. Лица не разглядел.

— Будем надеяться, дружочек. Будем надеяться.

Он повертел ларец в руках, поднёс к уху, потряс. Что-то зашуршало. Лицо у него стало задумчивым.

— Ключа нет, — сказал он.

— Уговор был закрытым.

— Уговор был закрытым, — согласился Абу-Хасан. — Но уговор был, что там камни. Мне сказали: там камни для свадебного подарка. А камни так не шуршат. — Он посмотрел на меня. — Открыть сможешь, не сломав?

Я взял ларец, достал иглу и поковырял в замочке. Замок был маленький и простой. Через десять вдохов крышка откинулась.

В ларце лежали письма. Свёрнутые трубками, перевязанные шёлковыми шнурками, штук двадцать. Больше ничего. Ни камней, ни золота.

Абу-Хасан смотрел на письма так, как смотрят на обманувшую женщину.

— Юнус, — сказал он наконец. — Читай.

Юнус взял верхний свиток, развязал шнурок, развернул и стал читать про себя, шевеля губами. Прочитал один, взял второй, третий. Лицо у него постепенно вытягивалось.

— Ну? — спросил Абу-Хасан.

— Визирю пишут, — тихо сказал Юнус. — Разные люди. Про разное. Этот — из Бухары, про хлеб. Этот — про эмира Кеша, что тот болен. Этот... — он замолчал.

— Читай вслух, — сказал Абу-Хасан.

Юнус облизнул губы.

— «Досточтимому визирю Мансуру ибн Хакиму, да продлит Единый его дни, от Абуль-Касима из Магриба, раба Единобого. Всё идёт так, как мы говорили. Сын портного Мустафы вырос. Я буду в Мараканде до новолуния. Позаботься, чтобы твоя стража не повесила мальчишку раньше, чем он мне понадобится. Ключ у вдовы. Лампа ждёт. Когда она будет у меня в руках, ты получишь то, о чём мы говорили». — Юнус поднял глаза. — И всё. Печать.

В бане стало очень тихо. Капала вода. Кто-то в первом зале всхрапнул и перевернулся на другой бок.

Абу-Хасан медленно положил в рот виноградину.

— Магрибинец, — сказал он. — Лампа. Сын портного. — Он посмотрел на меня, и лицо у него было задумчивое. — Твой отец ведь был портной, дружочек? Мустафа, да?

— Мустафа, — сказал я. Голос у меня прозвучал как чужой.

— Хм, — сказал Абу-Хасан. Он собрал письма, аккуратно, одно к одному, уложил обратно в ларец и закрыл крышку. — Это не наше дело. Такие письма живут дольше тех, кто их читает. Я их придержу, может, пригодятся. А тебе, дружочек, скажу так. Уговор был — ларец с камнями. Ты принёс ларец с бумагой. Заказчик мне за бумагу заплатит половину, если вообще заплатит. Значит, и я тебе — половину. Юнус, запиши: двадцать динаров.

— Уговор был ларец, — сказал я. — Ларец я принёс.

— Уговор был камни, — мягко сказал Абу-Хасан. — Ты же не хочешь, чтобы я вспомнил, что ты его ещё и открыл?

Юнус что-то записал в книгу.

— Двадцать, — сказал Абу-Хасан. — До новолуния. Восемь дней. Иди, дружок. Поспи. Ты хорошо поработал.

Я вышел из бани. Солнце уже поднялось над гребнем холма, и развалины на гребне горели рыжим. Внизу просыпался город. Где-то по ту сторону крыш, у канала Даргом, до сих пор кричали.

Я остановился за углом, прислонился к стене и достал из рукава свиток.

Тот самый. Последний, который читал Юнус. Когда Абу-Хасан собирал письма в ларец, «одно к одному», я подавал ему свитки со своей стороны помоста. Один не подал.

Я развернул его. Вязь бежала по бумаге, ровная, красивая, с завитками. Я не мог прочитывать ни слова. Но я помнил каждое, как их прочитал Юнус.

«Сын портного Мустафы вырос».

Я не знал, кто такой Абу-ль-Касим из Магриба. Не знал, какой ключ у какой вдовы и что за лампа меня ждёт. Я не знал, что визирь Мансур получит, когда эта лампа будет у кого-то в руках.

Но сын портного Мустафы — это был я.

Глава 5. Дядя из Магриба

— Пятница, — сказала Сафия и сдёрнула с меня тюфяк.

Я проспал, кажется, минут двадцать. Солнце уже жарило вовсю, на крыше было как на сковородке, а голова гудела после бессонной ночи, как баня Сорока.

— К отцу пойдём, — сказала она. — Умойся. И рубаху надень чистую. Ту, что я вчера постирала.

Я умылся из кувшина, надел рубаху и пошёл за ней. Она несла узелок с лепёшками и сушёным урюком, я нёс кувшин с водой. Бакшиш ехал у меня на плече и пытался развязать узелок.

Кладбище лежало на южном склоне того же жёлтого холма, где стояла баня Сорока, только восточнее. Склон был изрыт могилами, как соты. Кое-где стояли глиняные надгробия в виде маленьких домиков, кое-где просто камни, а выше по склону, по крутой тропе, поднимались к небу несколько куполов из обожжённого кирпича. Там былолюдно: женщины в белом, старики с чётками, дети. Играла дудка. Нищие сидели вдоль тропы и тянули руки.

— Шахи-Зинда, — сказала Сафия, заметив, куда я смотрю. — Живой царь.

— Почему живой?

Она посмотрела на меня с жалостью.

— Совсем голову потерял. Каждый ребёнок знает. Жил тут царь, святой человек. Пришли враги, окружили его. А он не стал сдаваться, вошёл в колодец, вон там, под куполом. И не умер. Живёт под землёй. Ходит под всем городом. Кто в беде, тому помогает.

— Ты в это веришь?

— Я верю в то, что вижу, — сказала Сафия. — А под землёй я не была.

Могила Мустафы была внизу, у самого подножия, в тени старого тутовника. Простой серый камень, поставленный стоймя, с надписью вязью. Сафия опустилась на колени, отёрла камень краем платка, положила рядом лепёшку и горсть урюка, полила землю водой из моего кувшина. Потом сложила ладони и стала шептать.

Я стоял рядом и не знал, что делать. Я не знал этого человека. Никогда его не видел. Он был отцом тела, в котором я жил, и мужем женщины, которая меня кормила, и всё. Я смотрел на камень и на вязь, которую не мог прочесть, и почему-то вспоминал руки из сна. Большие, в мелких шрамах от иглы, с напёрстком на среднем пальце.

Потом я увидел его.

Он стоял на коленях у соседней могилы, в трёх шагах, спиной к нам, и я сначала решил, что он молится своему покойнику. Большой, грузный человек в дорогом тёмно-зелёном халате, в белой чалме. Плечи у него вздрагивали. Он плакал.

Потом он поднялся, повернулся и пошёл прямо к нам.

Вблизи он оказался лет пятидесяти пяти. Лицо крупное, благообразное, с густой седой бородой, аккуратно подстриженной, с глазами, мокрыми от слёз. На пальцах перстни: сердолик, бирюза, чёрный камень, который я не узнал. В руке янтарные чётки. От него пахло амброй, так густо, что Бакшиш у меня на плече чихнул.

Он остановился над могилой Мустафы, посмотрел на камень, потом на Сафию, потом на меня. И заплакал снова, не пряча лица.

— Сафия-ханум? — спросил он, и голос у него был мягкий, бархатный, низкий, как у хорошего диктора. — Жена моего брата?

Сафия медленно поднялась с колен.

— Кто вы?

— Абу-ль-Касим, — сказал он. — Из Магриба. Старший брат Мустафы. — Он опустился перед ней на одно колено, прямо в пыль, в своём дорогом халате, и взял её руку в свои. — Сорок лет я искал его. Сорок лет. И нашёл — камень.

Абу-ль-Касим из Магриба.

Я стоял и смотрел на него, и у меня холодели пальцы. «От Абу-ль-Касима из Магриба, раба Единого. Сын портного Мустафы вырос. Я буду в Мараканде до новолуния».

Он был в Мараканде. До новолуния.

— У Мустафы не было брата, — сказала Сафия.

Она не отнимала руки, но голос у неё был твёрдый.

— Он так говорил? — Абу-ль-Касим покачал головой, и слеза скатилась ему в бороду. — Он так думал, ханум. Он думал, что я умер. Нас разлучили детьми. Его увёз в Бухару купец, которому наш отец задолжал, а меня отдали в учение в Фес. Я писал ему. Я искал его во всех городах на Пути. Мне говорили: был такой портной в Бухаре, ушёл. Был в Самарре, ушёл. Был в Нишапуре, ушёл. Наш Мустафа никогда не сидел на месте. — Он улыбнулся сквозь слёзы. — И всегда ставил заплату на левый локоть. Даже когда протирался правый. Говорил, что левая рука ближе к сердцу, ей нужнее.

Сафия охнула и прижала свободную руку ко рту.

Я смотрел на неё и понимал: это правда. Про локоть. Мустафа действительно так делал. Она узнала.

А я смотрел на руку Абу-ль-Касима, в которой он держал чётки.

Холодное чтение работает в обе стороны. Если ты умеешь читать людей, ты знаешь, как читают тебя, и знаешь, что прятать. Этот человек прятал почти всё. Лицо, голос, слёзы — всё было поставлено безупречно, как у хорошего актёра, который играет роль в сотый раз. Но есть вещи, которые не прячутся. Руки. Люди думают о лице и забывают о руках.

Янтарные чётки бежали у него между пальцами, бусина за бусиной, мерно, пока он говорил про Фес, про Бухару, про заплату на левом локте. А когда он сказал «брат», большой палец остановился на однойбусине. И стоял на ней, пока слово не прозвучало. Потом бусины побежали снова.

Он сказал «я старший брат Мустафы» — палец встал.

Он сказал «сорок лет я искал его» — палец встал.

Он сказал «он всегда ставил заплату на левый локоть» — чётки бежали, не останавливаясь.

Про локоть он не врал. Он действительно знал Мустафу. А вот братом ему не был.

И ещё он слишком долго смотрел в глаза. Сафии, мне. Честные люди отводят взгляд, когда им неловко, когда больно, когда вспоминают. Лжецы держат его, потому что знают: отве-дёшь — не поверят. Я сам так делал, со сцены. Держал взгляд, пока зритель не моргнёт первым.

Он повернулся ко мне.

— А это... — Он поднялся с колена, отряхнул халат и шагнул ко мне, раскрыв руки. — Это сын. Ала ад-Дин. Лицо матери, а глаза — Мустафины. Иди ко мне, мальчик.

Он обнял меня. Крепко, по-мужски, и от амбры у меня защищало в носу. Бакшиш заши-пел и перепрыгнул с моего плеча на камень.

— Сын моего брата, — сказал Абу-ль-Касим мне в ухо. Большой палец, я чувствовал спиной, лежал на одной бусине.

Выше по тропе, у ограды кладбища, стояли двое. Один держал под уздцы трёх коней: невысокий, с тёмным обветренным лицом, в косматой бараньей шапке, как у туркменов на старых фотографиях. Второй был огромный. Не как Ахмад из Сорока, а хуже: квадратный, как сундук, с плечами шире двери, в кожаной безрукавке на голое тело. Лицо у него было закрыто кожаной маской с прорезями для глаз. Он стоял неподвижно и смотрел на нас.

Сафия тоже его увидела и отступила на шаг.

— Слуги, — сказал Абу-ль-Касим, не оборачиваясь. — Не бойтесь. Этот, большой, — немой. Добрый, как телёнок. Мы зовём его Сундук.

* * *

Вечером он пришёл к нам с подарками.

Сначала пришли носильщики. Двое внесли в наш двор огромный медный котёл, в котором ещё шипел плов: янтарный рис, жёлтая морковь, баранина, чеснок целыми головками, айва. От запаха у меня подогнулись колени. Потом внесли корзину с персиками, виноградом и дынями. Потом тюк с тканями. Потом вошёл сам Абу-ль-Касим, в свежем халате, с новыми чётками, и поклонился Сафии, приложив руку к сердцу.

— Не откажите, ханум. Брат не успел угостить меня в своём доме. Позвольте мне угостить его жену.

Сафия не смогла отказать. Никто бы не смог. Здесь гостю не отказывают, а гость с котлом плова — это уже почти родственник.

Мы ели на помосте под тутовником, все трое. Сундук и туркмен, которого звали Оразгельды, остались за калиткой. Абу-ль-Касим ел мало и красиво, правой рукой, собирая рис в щепоть тремя пальцами. Он рассказывал про Магриб: про Фес, про горы, где зимой лежит снег, про море, которого я не видел в этой жизни, про кожевенные чаны, где красят кожу в сто цветов. Рассказывал хорошо. Сафия слушала, приоткрыв рот. Я слушал и считал бусины.

Потом он развернул тюк и достал оттуда шёлк. Тёмно-синий, тяжёлый, с отливом.

— Ханум вышивает, я знаю, — сказал он. — Весь квартал знает. Пусть вышьет себе. Не для чужих дочерей. Для себя.

Сафия взяла шёлк, провела по нему ладонью, и лицо у неё дрогнуло.

А потом, между персиком и виноградом, так легко, как спрашивают о погоде, он сказал:

— Брат ничего не оставил после себя? Мы в нашем роду все с ремеслом. У нашего деда был напёрсток. Медный, старый. Дед отдал его Мустафе, когда тот был ещё мальчишкой: Мустафа был любимый внук. Брат никогда с ним не расставался. Может быть, он у вас? Я бы хотел только подержать. Вспомнить деда.

Чётки остановились.

Сафия замерла. На одно мгновение, не больше. Потом отложила шёлк и сказала ровно:

— Всё продала, почтенный. Когда Мустафа болел, всё продала. Инструменты, шёлк, напёрсток. Лекарю платить было нечем.

Она врала.

Я знал, что она врала: позавчера вечером я своими глазами видел, как она держала этот напёрсток на ладони. И она врала гораздо хуже Абу-ль-Касима. Голос стал чуть выше. Руки легли на колени и сжались. Взгляд ушёл вниз.

Абу-ль-Касим тоже это видел. Я понял это по тому, как мягко он улыбнулся.

— Жаль, — сказал он. — Очень жаль.

— А что в Магрибе растёт, дядя? — спросил я громко. — Персики такие же?

Он повернулся ко мне, и мы посмотрели друг на друга.

— Персики хуже, — сказал он. — А вот апельсины — лучше. Ты никогда не видел апельсинов, мальчик?

* * *

Когда стемнело, он сказал, что хочет посмотреть на город с крыши. Сафия ушла в дом мыть котёл. Мы поднялись по лестнице вдвоём.

Над городом висела последняя, самая тонкая луна перед новолунием, почти невидимая. Звёзды высыпали густо. С крыш доносились голоса, где-то играли на дутаре, пахло дымом и остывающей глиной.

Абу-ль-Касим сел на край крыши, свесив ноги, как мальчишка. Я сел рядом.

— Двадцать динаров Абу-Хасану, — сказал он. — Не так ли? До новолуния.

Я промолчал. Он и не ждал ответа.

— Было сорок, а стало двадцать. Потому что ты ходил в дом Бахадура. — Он повернул ко мне голову. — Бахадур до сих пор ищет вора, который запер его на крыше. Весь город смеётся. Визирь не смеётся.

— Я не понимаю, о чём вы, дядя.

— Понимаешь, — сказал он мягко. — Ты стал очень понятливый, мальчик. Мне говорили, что сын Мустафы — дурачок, который падает с крыш. А ты не падаешь.

Он помолчал.

— У меня есть предложение. Я заплачу твой долг. Весь, сегодня же. Потом я сделаю тебя купцом: дам денег на лавку, научу торговать, женю на хорошей девушке. Твоя мать будет жить в достатке до конца дней.

— А взамен?

— Взамен — небольшое путешествие. В горы, неделя пути. Там, в одном месте, лежит наследство нашего деда. Твоего прадеда. Взять его может только сын Мустафы. Такой был у деда обычай.

— Какое наследство?

— Старое, — сказал он. — Для тебя — сундук с серебром. Для меня — память о деде.

Чётки лежали у него на колене. Он не касался их. Хитрый. Понял, что я смотрю на руки.

Я достал медную монету. Покатал по костяшкам туда-сюда. Он смотрел. Я подбросил монету, поймал в кулак, раскрыл кулак — пусто. Потом протянул руку и вынул монету у него из бороды.

Любой человек на его месте засмеялся бы, как смеялись вчера мальчишки на Регистане. Удивился бы. Потрогал бы бороду.

Абу-ль-Касим не засмеялся. Он взял у меня монету двумя пальцами, повертел, посмотрел на меня долгим тёплым взглядом. Потом сомкнул пальцы, разомкнул, и монеты не было.

— Посмотри у себя за поясом, мальчик, — сказал он.

Я посмотрел. Монета была у меня за поясом.

А рядом с ней, воткнутая в складку, торчала игла. Моя игла, отцовская, которую я прятал в шве левого рукава. Когда он её взял, я не понял. Когда обнимал меня на кладбище? Сейчас, на крыше? Я не почувствовал ничего.

Я вытащил иглу и посмотрел на него.

— Мы с тобой одной крови, мальчик, — сказал Абу-ль-Касим тихо. — Не по отцу. По ремеслу. Ты знаешь то, что знаю я: люди хотят, чтобы их обманывали. Им скучно жить в мире, где хлеб — это хлеб, а огонь жжёт. Им нужны чудеса. А кто умеет делать чудеса, тот может взять у мира всё, что захочет. — Он встал, отряхнул халат. — Подумай до утра. Я не тороплю. Но новолуние — через семь дней, а Абу-Хасан, говорят, очень аккуратно ведёт свою книгу.

Он спустился по лестнице. Я остался сидеть на крыше.

Я сидел долго. Внизу, за калиткой, заскрипела упряжь, и три коня ушли по улице, звонко цокая. Бакшиш вылез откуда-то из темноты и сел рядом, глядя вслед.

Я встречал в жизни многих людей, которые врут. Бездарных и талантливых, жадных и отчаявшихся. Гадалку с Зелёного базара, которая уговорила мою мать бросить таблетки, я так и не нашёл: она съехала за неделю до того, как я пришёл. Я представлял её себе сотни раз. Злой, толстой, глупой.

Сейчас я впервые подумал, что она могла быть такой, как Абу-ль-Касим. Тёплой. Умной. Щедрой. С котлом плова и мокрыми от слёз глазами.
Это было хуже всего.

* * *

Утром мы пошли в баню Сорока вместе.

Абу-ль-Касим шёл впереди, Сундук за ним, я последним. Мальчишка у кожаной занавеси, увидев Сундука, уронил нож и не стал его поднимать.

В бане былолюдно: утро, пар, голоса. Все замолчали, когда мы вошли. Рябой Карим поднялся со скамьи, положив руку на рукоять ножа. Малыш Ахмад сел на своей лавке и посмотрел на Сундука. Сундук посмотрел на Ахмада. Два огромных человека смотрели друг на друга через весь зал, и это было похоже на встречу двух медведей на одной тропе.

Абу-Хасан лежал на своём помосте в полотенце, и старик мня ему спину. Абу-ль-Касим подошёл к помосту, не здороваясь, достал из рукава тяжёлый кожаный кошелек и бросил на простыню, рядом с лицом атамана. Кошелек звякнул, раскрылся, и на простыню выкатились золотые монеты. Много.

— Двадцать пять, — сказал Абу-ль-Касим. — За моего племянника. Сдачи не надо.

Абу-Хасан открыл глаза. Посмотрел на золото, на магрибинца, на Сундука, на меня. Сел, придерживая полотенце. Взял одну монету, попробовал на зуб. И вдруг, к моему изумлению, поклонился. Низко, как кланяются господину, почти коснувшись лбом простыни.

— Юнус, — сказал он, не поднимая головы. — Вычеркни.

Юнус вычеркнул. Я видел, как калам прошёл по странице.

Всё. Двадцать динаров, которые неделю назад были невозможны. Рука, которую обещали оставить на воротах. Всё вычеркнуто, одним движением, как стирают мел с доски. Я должен был почувствовать облегчение.

Я почувствовал, как на шее у меня затягивается петля. Мягкая, шелковая, пахнущая амброй.

Теперь я был должен не Абу-Хасану. Теперь я был должен человеку, который пишет визирю про мальчишку, которого стража не должна повесить раньше, чем он понадобится.

Мы вышли на солнце. Абу-ль-Касим остановился у занавеси, прищурился на гребень холма.

— Через два дня выходим, — сказал он. — Собери, что нужно в дорогу. Тёплое возьми: в горах ночи холодные.

— Хорошо, дядя.

Я сказал это легко и спокойно, как говорят «хорошо» на корпоративе, когда заказчик просит начать на час позже. Внутри было совсем не спокойно. Внутри я сидел в полупустом зале и смотрел на человека, который сейчас, на моих глазах, провернул идеальный номер. Щедрость, слёзы, правда про заплату на левом локте. Долг, которого больше нет, и новый, которого не видно. Я знал, что это номер. Я видел все швы.

И всё равно не мог не восхищаться.

Ладно, дядя, подумал я. Хочешь сыграть? Давай сыграем. Ты мошенник, и я мошенник. Посмотрим, кто кого.

Абу-ль-Касим уже садился на коня. Сундук подставил ему сложенные ладони вместо стремени. Магрибинец устроился в седле, разобрал поводья и посмотрел на меня сверху вниз, с доброй, отеческой улыбкой.

— И принеси отцовский напёрсток, мальчик, — сказал он. — Твоя мать его не продавала. Женщины не продают такие вещи.

Он тронул коня. Потом обернулся.

— Твой отец оставил тебе ключ. Пора им воспользоваться.

Глава 6. Невольничий рынок

Цирюльник был маленький, лысый и весёлый, как воробей. Он усадил меня на низкую скамейку в предбаннике, обернул шею полотенцем, взял меня двумя пальцами за подбородок, повертел туда-сюда и захохотал.

— Три волоска! — закричал он на всю баню. — Три! Почтенный, вы видали? Двадцать лет парню, а на лице три волоска, как на пятке у старухи! Что брить? Где брить? Тут мне работы на один вдох!

В бане захохотали. Я сидел красный, как рак, и чувствовал, как тело, в котором я жил, сжимается от этого смеха, привычно, будто его так высмеивали всю жизнь. Наверное, так и было.

— Сбрей всё, — сказал Абу-ль-Касим из-за спины цирюльника.

Он сидел на соседней скамье, распаренный, в белой простыне, и пил холодный шербет.

— Всё? — удивился цирюльник. — И три волоска?

— И три волоска. — Магрибинец улыбнулся мне через зеркало, которое цирюльник держал передо мной: круглое, из полированной бронзы, в которой я отражался мутно, как в луже. — У моего племянника будет гладкое лицо. Как у юношей из Хотана. Там, за Небесными горами, мужчины бреются, и это считается красивым.

Цирюльник пожал плечами и взялся за бритву. Через минуту три волоска упали мне на колени. Абу-ль-Касим кивнул, будто что-то для себя решил.

Потом была лавка, где продавали одежду. Не старьё с Регистана, а настоящую, новую, в тюках, привезённых издалека. Абу-ль-Касим выбирал сам, не спрашивая меня. Белая рубаша из тонкого хлопка, шаровары из полосатого шёлка, халат цвета спелой айвы, с узором из мелких синих птиц, пояс, вышитый золотом, мягкие сапоги из жёлтой кожи и маленькая белая чалма, которую лавочник намотал мне на голову сам, приговаривая, что у меня голова, как у эмира.

Я посмотрел на себя в большое бронзовое зеркало у стены лавки.

Из зеркала смотрел молодой вельможа. Смуглый, гладколицый, стройный, в дорогом халате. Только глаза остались прежние: настороженные глаза вора, который прикидывает, где выход. И шрам через бровь.

— Держи спину, — сказал Абу-ль-Касим. — Ты горбишься, как будто несёшь на плечах мешок. Вельможа не несёт. За вельможу несут.

Я выпрямился. Отражение выпрямилось тоже.

* * *

До вечера мы ходили по той Мараканде, которую я не видел. По рядам ювелиров, где под навесами сидели старики с лупами из горного хрусталя и перебирали пинцетами камни на кусках чёрного бархата. По караван-сараям, где разгружались верблюды из Китая: тюки шёлка, ящики с чем-то, пахнущим смолой, люди с плоскими лицами и косами, говорившие на языке, который я, к своему облегчению, не понимал. Значит, не все языки мне выдали. По улице менял, где за низкими столиками сидели люди с весами и чётками и спорили о курсе дирхема к динару так же яростно, как спорят в Алматы у обменников перед праздниками.

Абу-ль-Касим учил меня по дороге. Как кланяться купцу, а как нищему. Как брать чашку: двумя руками, если подаёт старший. Как не смотреть на женщин, даже если очень хочется. Как отвечать на приветствие так, чтобы тебя запомнили.

— Ты быстро учишься, — сказал он, когда мы остановились у фонтана в одном из дворов. — Раньше, говорят, ты ничего не мог запомнить.

— Раньше мне никто не показывал, — сказал я.

Он посмотрел на меня долгим взглядом, но промолчал.

— Дядя, — сказал я. — А что там, в горах? Какое наследство?

Он зачерпнул воды из фонтана и отпил из ладони.

— Сокровищница наших предков, — сказал он. — Дед был мастер. Из тех мастеров, каких сейчас нет. Он построил её в горах давно, ещё до моего рождения. Войти туда может только кровь Мустафы. Такова была его воля: дед любил Мустафу больше, чем меня. — Он улыбнулся грустно и красиво. — Там серебро. Много. Хватит, чтобы твоя мать до смерти не взяла в руки иглу. И там есть одна вещь, которая мне дорога как память. Больше ничего мне не нужно.

— Какая вещь?

— Лампа, — сказал он просто. — Старая медная лампа. Дед зажигал её по праздникам, когда я был маленьким. Я хочу зажечь её над его могилой.

Большой палец стоял на бусине.

«Лампа ждёт». Я вспомнил письмо, свёрнутое трубочкой у меня в рукаве, и мне стало холодно под новым халатом.

— Красивая память, — сказал я.

— Очень, — сказал Абу-ль-Касим.

* * *

Выючных животных покупали за Кешскими воротами. Там, где кончался город и начинались караван-сарай, раскинулся большой скотный рынок: ослы, мулы, верблюды, лошади, облака пыли, крики погонщиков, запах навоза, от которого слезились глаза. Абу-ль-Касим торговался за двух верблюдов с таким удовольствием, будто это была игра в шахматы. Оразгельды ходил рядом и щупал верблюдам ноги.

Мне было скучно, и я отошёл.

За скотным рынком, отделённый от него низкой стеной, стоял ещё один рынок. Под большим полотняным навесом был сколочен дощатый помост, а на помосте стояли люди.

Я знал, что здесь есть рабство. Я читал об этом, видел в кино, помнил из того же учебника за пятый класс. Знать и видеть — разные вещи.

Их было человек двадцать. Мужчины, женщины, подростки. Кто-то в цепях, кто-то просто так, связанный за руки. Светловолосые северяне с пустыми глазами, темнокожий высокий старик из Хинда, две девчонки лет пятнадцати, прижавшиеся друг к другу, мальчишка, которого покупатель держал за подбородок и смотрел ему в зубы, как лошади. Торговцы ходили вдоль помоста и кричали цены. Покупатели щупали руки, заставляли раскрывать рты, приседать, поворачиваться.

Мне стало нехорошо. Не от жалости даже. От того, как буднично это было. Как на овощном рынке.

— Тысяча динаров! — надрылся у края помоста толстый потный торговец в зелёном халате. — Тысяча! И это дёшево, клянусь Единым, это даром! Она читает по-гречески! Считает, как казначей! Звёзды знает! Лекарства знает! В Мадинат ас-Саламе за неё давали полторы тысячи! Тысяча, почтенные!

У края помоста стояла девушка.

Не красавица, по здешним меркам, я это уже понимал. Крепкая, широкая в кости, с круглым веснушчатым лицом. Из-под платка выбивались каштановые, почти рыжие волосы. Руки у неё были не связаны, но на щиколотке болталась цепь, пристёгнутая к кольцу в помосте. На шее висел на шнурке какой-то гладкий зеленоватый камешек.

А глаза были зелёные. Не как у кошки и не как бутылочное стекло. Густые, тёмные, как мокрая трава.

Перед ней стоял покупатель. Тучный, в дорогом халате, с руками, унизированными кольцами. Он ухватил её пальцами за руку выше локтя и сжал, проверяя, сколько там мяса.

— Покрепче, чем говорили, — сказал он торговцу. — Но за тысячу...

Девушка выдернула руку.

— У тебя руки менялы, почтенный, — сказала она громко, чётко, так что было слышно на весь навес. — А глаза мясника. Я тебе не баранина. Иди покупай баранину. Вон там, за стеной, её много.

Кто-то в толпе захохотал. Покупатель побагровел, плюнул ей под ноги и ушёл. Торговец схватился за голову обеими руками.

— Зумурруд! — простонал он. — Зумурруд, дочь несчастья! Третий месяц! Третий месяц ты гонишь от меня покупателей! Я тебя кормлю! Я на тебя трачу! Я за тебя отдал восемьсот! Кому я тебя продам? Шайтану?

— Шайтан хотя бы умеет считать, — сказала девушка и отвернулась.

Она опустила на корточки у края помоста, взяла щепку и стала что-то чертить в пыли у своих ног. Не глядя ни на торговца, ни на толпу, ни на меня.

Я подошёл ближе и посмотрел, что она чертит.

Это был чертёж. Не рисунок, не узор, а настоящий чертёж, быстрый, уверенный, как рисуют инженеры на салфетках. Сосуд, из которого капает вода. Под ним другой сосуд, с поплавком внутри. От поплавка вверх идёт стержень с зубцами, зубцы цепляют колесо, колесо поворачивает ещё одно, маленькое, а на маленьком сидит птица. Рядом столбиком шли какие-то знаки, может цифры.

Я смотрел на чертёж, пытаюсь понять, как это работает. Вода капает. Поплавок поднимается. Зубцы крутят колесо. Птица...

— Ты смотришь на чертёж, — сказал голос над чертежом.

Я поднял глаза. Девушка смотрела на меня снизу вверх. Щепка застыла у неё в пальцах.

— Первый за три месяца, — сказала она. — Все смотрят на грудь. Или на зубы. А ты на чертёж.

— Что это? — спросил я.

Она помолчала, будто решая, стоит ли тратить на меня слова.

— Часы, — сказала она. — Вода капает из верхнего сосуда в нижний. Ровно, всегда одинаково, если сосуд правильно сделан. В нижнем поднимается поплавок. Поплавок толкает рейку. Рейка крутит колесо. Каждый полный оборот — час. А на исходе часа колесо задевает рычажок, рычажок гонит воздух через трубку, и птица поёт.

— Птица?

— Медная. — Она пожала плечами. — Если сделать.

— Ты можешь сделать?

Она посмотрела на меня, потом на цепь на своей щиколотке.

— Я могу сделать. Мне нечем.

— Племянник! — Абу-ль-Касим вырос у меня за плечом. Лицо у него было доброе, а пальцы крепко взяли меня за локоть. — Племянник, что ты тут делаешь? Нам пора. Верблюды куплены.

Девушка перевела взгляд с меня на него. На его перстни, на чётки, на лицо. Что-то в её лице изменилось. Она прищурилась, и я вдруг понял, что она плохо видит вдаль, а этот камешек на шее, наверное, для того, чтобы видеть вблизи.

Абу-ль-Касим уже тянул меня прочь.

— Эй, юноша! — крикнула она мне в спину, громко, на весь навес. — У твоего дяди глаза менялы! После рукопожатия пересчитай свои пальцы!

Толпа загоготала. Торговец в зелёном застонал снова.
Абу-ль-Касим не обернулся. Но пальцы на моём локте сжались так, что я чуть не вскрикнул.

* * *

Вечером я вышел один.

Абу-ль-Касим отвёл меня домой, отдал Сафии корзину с персиками и ушёл к себе в караван-сарай у Кешских ворот, где снимал комнату. Сафия увидела меня в новом халате и в чалме, всплеснула руками, заплакала, потом засмеялась, потом снова заплакала и ушла в дом. Я переоделся в старую рубаху, чтобы на меня не пялились, и пошёл на Регистан.

Вечером площадь была другой. Торговцы разошлись, ряды опустели, песок остыл. На площади горели костры, и вокруг каждого сидели люди. Один играл на дутаре, другой пел, третий показывал кукол на ширме, четвёртый рассказывал.

Возле самого большого костра сидели дети. Много, человек тридцать, мальчишки и девочки, и у всех были открыты рты.

Рассказчик сидел на коврике, скрестив ноги. Высокий даже сидя, тощий, как жердь, с длинным лицом и огромным горбатым носом. Брови у него были густые и изогнутые, как крылья ласточки. Из-под чалмы торчала седая борода, крашенная хной на концах, так что казалось, будто борода горит. Одет он был бедно, в застиранный коричневый халат, но когда он поднимал руки, рукава откидывались, и под ними мелькала подкладка, пёстрая, лоскутная, как у бродячего актёра.

А голос у него был такой, каким не бывает у людей. Он говорил за старика, и голос становился скрипучим и дрожащим. За девушку — нежным, как флейта. За злодея — низким, бархатным, таким похожим на голос Абу-ль-Касима, что у меня мурашки пошли по спине.

Я сел в стороне, за спинами детей.

— ...и сказал чужеземец юноше: «Я твой дядя, брат твоего отца!» — рассказывал старик бархатным голосом злодея. — А у юноши никакого дяди никогда не было. Но чужеземец был щедрый. Он накормил юношу пловом, одел его в шёлк, заплатил его долги. И юноша, глупый, подумал: какой добрый у меня дядя! Которого у меня никогда не было!

Дети захохотали.

— И повёл дядя юношу в гору, — продолжал старик, и голос его стал тихим, почти шёпотом, так что дети подались вперёд. — В тёмную гору, в глубокую гору, откуда никто никогда не возвращался. И сказал: «Лезь, племянник, туда, куда я пролезть не могу. Достань мне оттуда то, что я не могу достать сам». И юноша полез...

— А дальше? — пискнула девочка в первом ряду.

Старик поднял голову. Поверх голов детей, поверх костра, он посмотрел прямо на меня. Глаза у него были тёмные, блестящие, очень живые в сетке морщин.

— А дальше, — сказал он своим голосом, негромким и чуть хриплым, — будет завтра. Если юноша не дурак. А если дурак — то и сказки никакой не будет. Щедрость чужих — это крючок, дети. На крючок вешают червяка, а ловят рыбу.

Дети загалдели, недовольные, но старик уже поднимался, отряхивая халат. Сказка кончилась. Дети неохотно разбрелись.

Я сидел, пока он не прошёл мимо меня. Он шёл медленно, опираясь на палку, и остановился в двух шагах, будто поправить сапог.

— Чужой халат был тебе к лицу, — сказал он, не глядя на меня. — Жаль, что чужой.

— Кто вы? — спросил я.

— Старый дурак, который рассказывает сказки. — Он наконец посмотрел на меня. — А ты кто?

Я не нашёлся, что ответить.

— Масло и свет, — сказал он. — Моя лавка. У медного ряда, на углу. Масло у меня хорошее, горит долго. Если когда-нибудь станет темно — приходи.

Он ушёл, постукивая палкой. От него пахло лампадным маслом и гвоздикой.

* * *

Ночью я пошёл за Абу-ль-Касимом.

Караван-сарай у Кешских ворот я нашёл быстро: большой двор, обнесённый стеной, над стеной верхушки тополей и крыши келий. Я залез на крышу соседней лавки, лёг на живот за гребнем и стал ждать. Бакшиш лежал рядом и дышал мне в ухо.

Ждать пришлось недолго. Незадолго до полуночи из ворот караван-сарая вышли двое. Большой, грузный, в тёмном плаще с капюшоном, и огромный, квадратный. Абу-ль-Касим и Сундук. Они пошли не к нашему кварталу, а в другую сторону. К Арку.

Я пошёл за ними по крышам.

Это было нетрудно. Ночью город спал, крыши тянулись одна к другой, как ступени, и только кое-где приходилось спускаться на стену и перебегать по гребню. Луны почти не было. Внизу, по улицам, шла ночная стража с колотушками, и деревянный стук гулко катился между стенами, так что я слышал стражу за два квартала и успевал затаиться.

Абу-ль-Касим и Сундук прошли через весь нижний город к большим домам под стенами Арка. Остановились у высокой стены с зубцами, почти такой же, как у Бахадура, только выше. Постучали в маленькую калитку. Калитка открылась сразу, будто их ждали.

Я перебрался на крышу соседнего дома. Двор за стеной был большой, с садом и прудом. В глубине двора светился айван, открытая терраса на резных столбах, и на айване, в свете двух бронзовых светильников, сидел человек.

Высокий, сухой, в чёрном. Лицо узкое, бородка короткая, седая. У его ног, на ковре, лежал зверь. Сначала я подумал, что это большая собака, потом зверь повернул голову к калитке, и в свете ламп сверкнули жёлтые глаза и пятна на шкуре. Гепард.

Абу-ль-Касим поднялся на айван и поклонился. Человек в чёрном не встал.

Ветер тянул с их стороны. Голоса доносились до меня обрывками, но доносились.

— ...мальчик? — спросил человек в чёрном. Голос у него был сухой и холодный, как сквозняк из погребка.

— Мальчик пойдёт, досточтимый Мансур, — сказал Абу-ль-Касим. — Он думает, что хитрее меня. Пусть думает. Хитрые идут сами, их не надо тащить.

— Когда?

— Через два дня выходим. Через пять дней он полезет в гору. — Абу-ль-Касим помолчал, и следующие слова он сказал так спокойно, будто говорил о погоде. — Обратно не выйдет.

Гепард зевнул, показав клыки.

— А лампа? — спросил визирь.

— Лампа будет у меня. И тогда, досточтимый, Люди Огня откроют тебе любые двери в этом городе. Любые. Даже в спальню повелителя.

Визирь долго молчал.

— Мой сын третий день не выходит на улицу, — сказал он наконец, и в голосе его впервые было что-то живое. — Весь город смеётся. На базаре поют песню про вора и про рубаху. Найди мне этого вора, Абу-ль-Касим. С твоими-то людьми.

Абу-ль-Касим засмеялся. Тихо, мягко, с удовольствием.

— Найду, досточтимый, — сказал он. — Он ближе, чем ты думаешь.

Я лежал на крыше и не дышал.

Бакшиш рядом со мной мелко дрожал, хотя ночь была тёплая.

«Обратно не выйдет».

Он знал. Он знал про крышу, про Бахадура, про ларец. Может быть, даже про письмо, которое сейчас лежало у меня в рукаве, свёрнутое трубочкой. Он знал, и не сказал визирю. Приберёг, как хороший игрок берегает карту.

А я думал, что это я с ним играю.

Глава 7. Колыбельная

Абу-ль-Касим зашёл утром, ненадолго, по дороге куда-то. Принёс Сафии мешочек сушёных абрикосов и кувшин масла, сел на край помоста, пока она благодарила, и между делом, глядя на тутовник, спросил меня:

— А отец не учил тебя каким-нибудь словам, мальчик? Молитве? Песне? В нашем роду у мастеров были свои песни. Дед пел за работой, отец пел, Мустафа, наверное, тоже. Мне бы хотелось услышать. Я их почти забыл.

Чётки у него в руке не двигались вовсе. Он держал их, как держат ненужную вещь, и на меня не смотрел. Хитрый. Он понял, что я смотрю на бусины, и перестал ими пользоваться.

Но всё равно выдал себя. Человек, которому правда хочется вспомнить песню деда, смотрит на того, кого спрашивает. Этот смотрел на тутовник, потому что боялся, что по лицу будет видно, как ему важен ответ.

— Не учил, — сказал я. — Я маленький был, когда он умер. Не помню.

— Жаль, — сказал Абу-ль-Касим легко и поднялся. — Завтра на рассвете, у Навбахарских ворот. И не забудь.

Он не сказал, что именно не забыть. Он и так знал, что я понял.

Весь день я думал о песне.

Никакой песни я не знал. Прежний Ала ад-Дин, может быть, и знал, но я-то был не он. Но под утро, в первую ночь на крыше, мне снился сон, и во сне кто-то пел. Мотив без слов, протяжный, тихий. И большие руки держали шёлк, и на пальце был напёрсток.

Вечером, когда жара спала и Сафия отложила пяльцы, я сел рядом с ней на помост.

— Мама. Расскажи мне про отца.

Она посмотрела на меня с удивлением.

— Чего рассказывать? Ты всё знаешь.

— Я забыл. Я ударился, помнишь? Расскажи.

Она помолчала. Потом сложила руки на коленях, как делала, когда уставала, и стала смотреть на арык.

— Он пришёл ниоткуда, — сказала она. — Двадцать два года назад. Я тогда жила у тётки, вот тут, в этом доме, дом тёткин был. Однажды утром смотрю: у калитки сидит человек. Высокий, худой, в одной рубахе, рубаха в крови. Рука порезана, вот тут, от локтя до кисти. Сидит, держит руку и молчит. Я ему воды дала. Он попил и говорит: «Спасибо, сестра. Есть у вас в квартале портной?» А портного не было, старый Юсуф как раз умер. «Теперь есть», — говорит.

Она улыбнулась, не мне, а тому утру.

— Откуда пришёл, никогда не говорил. Спросишь — молчит. Один раз, в самом начале, сказал «с гор». И больше ни разу. Руки у него были золотые, сынок. Он не только шил. Он всё чинил. У Хафизы водяное колесо в огороде сломалось, никто починить не мог, он пришёл, посмотрел, за полдня переделал, и оно потом двадцать лет крутилось, пока арык не пересох. У кади замок в сундуке заело, все ключники отказались, послали за Мустафой. Он замок открыл, а потом сделал кади новый, такой, что и сам кади открыть не мог без ключа. — Она засмеялась. — Кади потом полгода на него злился.

— А ночью, — сказала она после паузы, тише, — иногда просыпаюсь, а его нет. Залезу на крышу, а он сидит на краю и смотрит туда. — Она кивнула на юго-восток, где за крышами, за городом, в темноте, должны были быть горы. — Сидит и смотрит. Я спрошу: «Мустафа, что там?» А он: «Ничего, Сафия. Там уже ничего нет».

Я слушал её и видел этого человека, как в кино. Высокий, худой, с порезанной рукой. Сидит на краю крыши и смотрит на горы.

— Как он умер? — спросил я.

Лицо у неё закрылось.

— Лихорадка, — сказала она коротко. — Быстро. Три дня. Лекарь сказал, дурная вода. Она помолчала. Потом сказала совсем тихо, будто себе:

— За неделю до того к нему купец приходил. Чужой, богатый. Халат заказывал. Заплатил вперёд, щедро. Мустафа после него был сам не свой. Всю ночь просидел на крыше. А утром пошёл, заперся в мастерской и что-то там делал, стучал. Я спрашиваю, а он: «Ничего, Сафия, это для сына». А через неделю лихорадка.

Мне стало холодно. Очень холодно, посреди тёплого вечера.

— Какой купец, мама? Как он выглядел?

Она покачала головой.

— Не видела я. В мастерской они говорили, я на крыше бельё вешала. Голос только слышала. Мягкий такой. Как у хорошего чтеца в молельне.

Мягкий. Бархатный.

Сафия поднялась и ушла в дом. Я думал, она ушла совсем, но она вернулась с деревянной шкатулкой. Той самой. Открыла, достала напёрсток и протянула мне на ладони.

— Твой дядя про него спрашивал, — сказала она. — А я ему соврала. Не знаю, зачем. Сердце так сказало. Он хороший человек, щедрый, а сердце сказало: соври. — Она вздохнула. — А тебе отдам. Ты его сын. Отец говорил: «Это для сына. В нём дорога домой». Я не знаю, что это значит. Может, ты знаешь.

Я взял напёрсток.

Он был тяжелее, чем казался. Медный, тёмный от времени и от рук, гладкий снаружи, с обычными ямками, в которые упирается игла. Я надел его на средний палец. Он был велик: палец у меня был тоньше, чем у Мустафы.

— Спасибо, мама, — сказал я.

На правильном языке.

* * *

Ночью, при глиняном светильнике, я его рассмотрел.

Ямки снаружи были не как у обычного напёрстка. У обычного они идут ровными рядами, частые и мелкие. У этого они шли рядами, но разной глубины, и если провести по ним ногтем, чувствовалось: одна глубже, другая мельче, третья почти плоская. Как бороздки у ключа. Я не мог понять, какой замок открывается напёрстком, но я семь лет разбирал фокусы и знал: если вещь выглядит обычной, а сделана необычно, значит, она не обычная.

А по ободку, по самому краю, шла тонкая гравировка. Её почти не было видно: стёрлась от пальцев, от лет, забилась грязью. Я поплевал, потёр рукавом и поднёс напёрсток к самому огню.

Семь маленьких знаков. Каждый не больше рисового зёрнышка. Друг за другом, по кругу.

Сerp. Две волнистые черты. Снова две волнистые черты. Звёздочка. Что-то похожее на птицу: галочка с точкой. Треугольник. И язычок пламени.

Я смотрел на них, и в голове крутился мотив из сна. Протяжный, тихий, без слов.

Я спустился с крыши.

Сафия ещё не спала. Она сидела под тутовником у светильника и вышивала, хотя было уже поздно. Синий шёлк Абу-ль-Касима лежал у неё на коленях, и она начала вышивать на нём что-то: пока только край, узор из мелких листьев.

— Мама, — сказал я. — Отец пел тебе песню. Для меня. Колыбельную.

Она подняла голову. Игла замерла.

— Откуда ты знаешь? Ты же не помнишь.

— Мне приснилось. Спой, пожалуйста.

Она смотрела на меня долго. Потом отложила шёлк, сложила руки на коленях и, глядя не на меня, а в темноту над арыком, запела.

Голос у неё был тонкий, чуть надтреснутый, совсем не певческий. И пела она не так, как поют для других, а так, как поют сами себе, когда никто не слышит. Протяжно, негромко, повторяя последнюю строчку.

Спи, сынок. Луна над крышей.
Две воды — в один арык.
Над водой звезда повисла,
птица спит, гора молчит.
А в отцовской медной лампе
огонёк до дня горит.

Кто запомнит эту песню,
тот всегда найдёт свой дом.
Тот всегда найдёт свой дом.

Она замолчала. В соседнем дворе кашлянул кто-то, собака тявкнула и затихла. Арык журчал.

Я сидел не двигаясь и держал в кулаке напёрсток.

Луна. Серп. Две воды. Две волнистые черты. Одна вода, вторая вода: «две воды — в один арык». Звезда. Птица. Гора — треугольник. И огонь в медной лампе.

Семь знаков на ободке. Семь слов в песне. В том же порядке.

«В отцовской медной лампе».

— Ещё раз, мама, — сказал я. — Пожалуйста.

Она спела ещё раз. Я шевелил губами, повторяя за ней. Потом попросил снова. И снова. На пятый раз она засмеялась.

— Да что с тобой? В детстве ты засыпал на втором куплете. А теперь пять раз подряд. Не спится?

— Не спится.

— Ложись, — сказала она мягко. — Завтра дорога. Ложись, я тебе ещё раз спою. Тихонько.

Я лёг на помосте, рядом с ней, головой к её коленям, как, наверное, лежал тот мальчик, двадцать лет назад. Она положила мне на лоб свою шершавую ладонь, пахнущую нитками и дымом, и запела ещё раз, тише.

Я лежал с закрытыми глазами и запоминал слова. Потом перестал запоминать. Просто слушал.

И в какой-то момент понял, что плачу.

Не из-за песни. Не из-за Мустафы, которого я не знал, и не из-за Сафии, которая пела не мне.

Моя мама пела мне другую колыбельную. «Элди-элди, ақ бөпем». Казахскую, старую, которую ей пела её бабушка в ауле под Талдыкорганом. Я не вспоминал её тридцать лет. Я думал, что забыл. Оказалось, нет: вот она, слово в слово, и голос тот самый, чуть низковатый, с хрипотцой учительницы, которая с утра до вечера говорит в классе. Мама пела её, когда я болел, до десяти лет, пока я не начал стесняться и не сказал ей, что уже большой.

Три года назад, в реанимации, я хотел ей спеть. Когда стало понятно, что она не проснётся. Сидел рядом и хотел спеть «Элди-элди», потому что больше ничего не мог для неё

сделать. И не смог вспомнить слова. Ни одного. Сидел и молчал, пока не пришла медсестра и не сказала, что пора.

А теперь вот вспомнил. Здесь, в чужом мире, в чужом веке, на коленях у чужой матери. Все слова.

Я лежал и плакал без звука, в темноте, и Сафия гладила меня по голове и пела про луну над крышей. Может быть, она поняла. Может быть, нет. Она ничего не спросила.

* * *

Когда она заснула, я поднялся на крышу и занялся делом.

Если ты идёшь туда, откуда не должен вернуться, надо собраться так, чтобы вернуться.

Иглы. Я распорол швы на рукавах старой рубахи, той, что надена под новый халат, и вшил в них четыре иглы и две тонкие медные проволоочки. Одну иглу вколол в пояс, одну — в подошву сапога, под стельку. Отмычки. Там, куда меня ведут, наверняка есть замки.

Нож. Короткий, с костяной ручкой, которым Сафия резала лук. Утром она его хватится, но утром меня уже не будет. В правый сапог, за голенище.

Верёвку, моток тонкой и крепкой, какой подвязывают виноград, — вокруг пояса, под кушак. Огниво и трут — в мешочек за пазухой. Сушёный урюк Абу-ль-Касима — туда же, горсть.

Письмо.

Я достал из рукава свиток, развернул его при свете звёзд. Вязь, которую я не мог прочитывать. «Сын портного Мустафы вырос». В горы его брат нельзя: если меня обыщут, найдут. Дома оставлять страшно: если Абу-ль-Касим пошлёт кого-нибудь, найдут тоже. Я поискал глазами и нашёл: в углу крыши, где глиняная обмазка треснула у стены, была щель. Я свернул письмо потуже, завернул в кусок промасленной бумаги, которой здесь заклеивают окна, засушил в щель и замазал сверху глиной, размятой с водой из бочки.

Бакшиш сидел рядом и смотрел на меня так внимательно, будто запоминал, где тайник.

— Не вздумай, — сказал я ему.

Он отвернулся с видом оскорблённой добродетели.

Напёрсток я повесил на шнурок и надел на шею, под рубаху. Он лёг на грудь, холодный, тяжёлый.

А песню — песню я уже никуда не прятал. Она была у меня в голове. Туда Абу-ль-Касим не залезет, как бы ловко он ни таскал иглы из рукавов.

Я лёг на спину и стал думать. Не об Абу-ль-Касиме. О фокусах.

У фокусника всегда два секрета. Один — тот, который зритель ищет. Зритель смотрит на правую руку, потому что ты ею машешь, и думает: вот где секрет. А секрет в левой. Хороший фокусник показывает зрителю тайну, чтобы тот её разгадывал и не искал другую.

Напёрсток — это правая рука. Абу-ль-Касим про него знает, спрашивает, ждёт. Пусть получит. Я покажу ему напёрсток, открою им дверь, сделаю всё, что он скажет.

А песня — левая. Про песню он не знает точно. Догадывается, спрашивает, но не знает. И если я не скажу, то не узнает. А без песни, я был почти уверен, напёрстка мало.

Я мог бы сбежать. Думал об этом всю ночь. Взять Сафию, взять Бакшиша, уйти через Бухарские ворота на запад, куда глаза глядят. Далеко бы мы ушли? Старуха, мальчишка без денег и обезьяна. Визирь, у которого в городе вся стража, магрибинец, у которого какие-то «Люди Огня». Нас бы вернули через три дня. А Сафию, которая «соврала, потому что сердце сказало», спросили бы про напёрсток уже совсем по-другому.

Нет. Лучше идти с открытыми глазами. Пока я ему нужен, я жив. Пока я не отдал ему лампу, я ему нужен. А в горе, куда он сам пролезть не может, лампа будет в моих руках.

Держи это в голове, Алдар, сказал я себе. В горе лампа будет в твоих руках. Остальное — импровизация.

Звёзды медленно поворачивались над городом. Я так и не заснул.

* * *

На рассвете, у Навбахарских ворот, уже ждали.

Ворота только открыли. Стражники зевали, пропуская первые арбы с дровами и сеном. За воротами начиналась дорога: пыльная, светлая, уходящая на север, к реке, к холмам, к горам, которые отсюда ещё не было видно.

Абу-ль-Касим сидел на своём коне, на гнедом, крупном, с белой звёздочкой на лбу. Оразгельды держал в поводу двух навьюченных верблюдов и лошадь. Сундук стоял просто так, пешком, и я вдруг понял, что ни одна лошадь его не выдержит. Для меня привели осла. Серого, лопоухого, с таким выражением на морде, будто он заранее знает, чем всё кончится.

У ворот, прислонившись к створке, стоял Туграл-бек. Без шлема, в простой куртке, с чашкой в руке: пил что-то горячее и смотрел, как выезжают арбы. Увидел меня в новом халате, на осле, рядом с богатым магрибинцем, и чашка у него замерла на полпути ко рту.

— Далеко собрался, Игла? — спросил он.

— Мой племянник едет со мной по делам наследства, почтенный, — ответил за меня Абу-ль-Касим с седла, ласково и с поклоном.

Туграл-бек перевёл взгляд с него на меня, потом на Сундука, потом снова на меня. Шрам через его лицо чуть дёрнулся.

— Наследства, — повторил он. — Ну-ну. Возвращайся, Игла. Мне без тебя скучно будет.

Он отхлебнул из чашки и отвернулся. Я так и не понял, было это угрозой или чем-то совсем другим.

Я оглянулся. Над крышами нашего квартала, далеко, на краю одной из крыш, стояла маленькая фигурка и махала белым платком.

Я помахал в ответ.

— Мать провожает, — сказал Абу-ль-Касим. — Хорошо, когда мать провожает. Меня никто не провожал. — Он наклонился ко мне с седла. — Принёс?

Я вытащил шнурок из-под рубахи и показал напёрсток.

Глаза у Абу-ль-Касима вспыхнули. На одно мгновение, коротко, как вспыхивает огонёк в темноте. Он протянул руку.

— Дай-ка мне. Я сберегу.

— Отец оставил его мне, — сказал я и спрятал напёрсток обратно. — Я сам открою.

Он посмотрел на меня. Рука повисла в воздухе. Потом он улыбнулся и убрал руку.

— Конечно, мальчик. Конечно. Сам.

Он полез в складки пояса, достал что-то маленькое, зажатое в кулаке, и протянул мне.

— Тогда вот. Возьми хотя бы это. Надень.

Я раскрыл ладонь. На ней лежало кольцо.

Тяжёлое, тёмное, не серебро и не железо, а что-то среднее, почерневшее от времени. Широкое, мужское. Сверху — плоская печатка, круглая, а на печатке вырезана шестиконечная звезда в круге: два треугольника, один вершиной вверх, другой вниз.

— Оберег твоего отца, — сказал Абу-ль-Касим. — Мустафа прислал его мне перед смертью. Пять лет я его берёг. Пусть теперь бережёт тебя. В горе он тебе пригодится.

Чётки у него в левой руке, на поводьях, перестали двигаться. Большой палец лёг на бусину и остался там.

Я надел кольцо. На безымянный оно было велико, на средний село как влитое. Будто сделано по моей руке.

— Спасибо, дядя, — сказал я.

— Не за что, мальчик, — сказал он. — Мы же родня.

Он тронул коня. Оразгельды потянул верблюдов. Сундук пошёл следом, огромный и молчаливый, как ходячая стена. Мой осёл вздохнул и тоже пошёл, не дожидаясь, пока я его понукну. Бакшиш сидел у меня на плече и смотрел назад, на город.

Я ехал и смотрел на кольцо.

«Мустафа прислал его мне перед смертью».

Мустафа, у которого не было брата. Который двадцать два года никому не говорил, откуда пришёл. Который за неделю до смерти принимал у себя богатого купца с мягким голосом, а потом всю ночь просидел на крыше и заперся в мастерской «для сына».

Откуда у дяди, которого у отца не было, отцовское кольцо?

Глава 8. Дорога на Нуратау

Зеравшан оказался не рекой, а целой страной воды и камня.

Я ждал чего-то вроде Или под Капчагаем: одно русло, берега, мост. А здесь с холма перед нами открылась широченная долина, вся в серой гальке, и по гальке, переплетаясь, расходясь и снова сливаясь, бежали десятки рукавов. Одни узкие, как арык, другие шириной с улицу. Вода была мутно-белая, холодная даже на вид, и шумела так, что приходилось кричать. Между рукавами торчали острова с тугаями, колючими кустами и тополями, в тугаях орал фазаны.

— Золотоносная, — сказал Абу-ль-Касим, придерживая коня рядом со мной. — Так её называют. Зар — золото. В песке у берегов моют золото, крупинками. Немного. На жизнь хватает, на богатство нет.

Мы перешли её вброд, рукав за рукавом. Кони шли уверенно, верблюды недовольно, но шли. Мой осёл дошёл до первого широкого рукава, посмотрел на воду и встал. Намертво. Я бил его пятками, тянул за уши, уговаривал, обещал урюк. Он стоял, расставив ноги, и смотрел на воду с глубоким отвращением.

Оразгельды хохотал на том берегу. Абу-ль-Касим улыбался.

Тогда вернулся Сундук. Он вошёл в воду по колено, подошёл к нам, наклонился, подсунил одну руку ослу под брюхо, другую под круп, и поднял его. Вместе со мной. Осёл заорал. Я вцепился в его гриву. Сундук невозмутимо перенёс нас через рукав, поставил на гальку на другом берегу, повернулся и пошёл обратно за выюком, который свалился с верблюда.

Он не сказал ни слова. Он вообще ничего не говорил. Но в прорезях кожаной маски, когда он ставил нас на землю, мне показалось, мелькнуло что-то похожее на смех.

— Сундук любит животных, — сказал Абу-ль-Касим. — Животные не врут.

За рекой начались холмы. Жёлтые, пологие, выжженные солнцем, в серых подушках полыни, которая пахла так горько и сильно, что к полудню у меня разболелась голова. Слева на холме стоял маленький купол, белёный, с шестом, на шесте болтались тряпочки. Мазар, сказал Абу-ль-Касим. Чупан-ата, святой пастух. Он пасёт город, как пастух пасёт овец: сидит на холме и смотрит, чтобы с Мараканды не упала ни одна овца.

— Смотрит? — спросил я.

— Так говорят. — Магрибинец пожал плечами. — Люди любят, когда на них кто-то смотрит сверху. Им от этого спокойнее.

К вечеру первого дня он предложил мне пересесть на лошадь. На третьего коня, запасного, спокойного мерина.

— Ты племянник богатого человека, — сказал он. — Негоже тебе на осле.

Я пересел. Я не сидел на лошади ни разу в жизни, если не считать пони в парке Горького в пять лет. Мерин оказался высоким, спина у него ходила ходуном, как палуба, а седло здесь было жёсткое, с высокой лукой, и стремяна короткие. Через час я съехал на бок на спуске в сухое русло и упал в колючку.

Оразгельды смеялся так, что чуть не упал сам. Абу-ль-Касим смотрел на меня сверху, из седла, задумчиво.

— Твой отец ездил, как степняк, — сказал он. — Мне говорили.

— Мне тоже много чего говорили, — сказал я, выдирая колючки из шаровар.

Я пересел обратно на осла. Осёл посмотрел на меня с таким выражением, будто всегда знал, что этим кончится.

* * *

Дорога шла на северо-запад, три дня. Сначала через кишлаки, где у арыков росли тутовники и тополя, где мальчишки выбегали смотреть на верблюдов, а старики у ворот провожали нас долгими взглядами. Потом кишлаков стало меньше, а камней больше. Холмы стали выше и круче, дорога превратилась в тропу. Навстречу попадались пастухи с отарами курдючных овец, огромные лохматые собаки, всадники, которые издалека смотрели на Сундука и объезжали нас стороной.

А впереди, над холмами, поднимались горы.

Не такие, как у меня дома. Алатау — это стена, белая, сверкающая, с ледниками и ёлками. Эти горы были голые, серо-синие, сухие, как кости. Скалы, осыпи, редкие тёмные кусты, прилепившиеся к камню. Арча, сказал Абу-ль-Касим. Можжевельник. Растёт по сантиметру в год и живёт тысячу лет.

Он сказал «по волоску в год», конечно. Сантиметры я додумал сам.

Он много говорил в дороге. Про Магриб, про Фес, про звёзды, про травы. Про то, как устроен мир. Он был образован, этот человек, образован так, как в моём времени бывают образованы редкие старые профессора. Знал астрономию, лечение, механику, языки. Рассказывал про греческого мастера Герона, который делал двери храмов, открывающиеся сами, когда жрец зажигает огонь на алтаре. Про братьев Бану Муса в Мадинат ас-Саламе, которые построили механическую флейту, играющую без флейтиста.

— Люди думают, что это чудо, — сказал он, покачиваясь в седле. — А это вода, мальчик. Вода, воздух, огонь и противовес. Жрец зажигает огонь, огонь греет воздух в скрытом сосуде, воздух выдавливает воду в ведро, ведро тянет верёвку, верёвка открывает двери. Народ падает на колени. Жрец собирает подношения.

— Жрец обманывает народ, — сказал я.

— Жрец даёт народу чудо, — поправил Абу-ль-Касим. — Народ приходит в храм за чудом. Если бы двери открывал раб, народ ушёл бы разочарованный. А так он уходит счастливый. Кому плохо?

Я хотел ответить. У меня был ответ. Я семь лет его давал, в каждом выпуске.

— Тому, кто отдал жрецу последнее, — сказал я.

— Он отдал бы последнее кому-нибудь другому, — сказал Абу-ль-Касим, не задумываясь. — Люди всегда отдают последнее тому, кто им что-нибудь обещает. Такова их природа. Не мы её придумали. Мы только знаем, как она устроена.

И я поймал себя на том, что киваю.

Не вслух. Внутри. Потому что он был прав. Я видел это тысячу раз. Мать, которая несёт сбережения целительнице. Бизнесмен, который платит астрологу за день открытия офиса. Мои собственные зрители, которые смотрели, как я разоблачаю гадалку, а потом шли к другой, потому что та «настоящая». Люди хотят, чтобы их обманывали. Это была моя собственная мысль, моя, сотни раз повторенная. Только я говорил её с горечью, а он — с удовольствием.

— Царь правит не мечом, — продолжал Абу-ль-Касим. — Мечом правит палач. Царь правит сказкой. Люди слушаются того, про кого им рассказали правильную сказку. Кто умеет рассказывать, тому не нужен меч.

— А кто рассказывает сказку про джиннов? — спросил я. — Тот, кому нужны джинны?

Он посмотрел на меня с интересом.

— А ты веришь в джиннов, мальчик?

— Нет.

— И я нет, — сказал он и засмеялся. — Но знаешь, что забавно? Сулейман, говорят, запечатал джиннов своей печатью. Печать — это знак. Кто держит знак, тому служат. — Он помолчал. — Джинны, может, и выдумка. А вот знаки — нет. Люди служат знакам. Всегда.

Я посмотрел на кольцо у себя на пальце. На шестиконечную звезду в круге.

Абу-ль-Касим тоже на него посмотрел. И отвернулся.

* * *

На третью ночь пришли гули.

Мы встали лагерем в сухой лощине между двух холмов. Оразгельды развёл костёр из саксаула и колючки, сварил в котле пшено с бараньим жиром. Мы поели. Сундук сел в стороне, спиной к скале, и, кажется, заснул сидя. Абу-ль-Касим читал при свете костра какую-то маленькую книжечку в кожаном переплёте. Я лёг на кошму, Бакшиш лёг на меня.

Сначала завывало.

Не волк, не собака. Звук начался низко, где-то на гребне холма, и поднялся до визга, и оборвался. Потом ответили с другой стороны. Потом ещё с третьей.

Оразгельды вскочил. Лицо у него в свете костра стало серым.

— Гули, — прошептал он. — Почтенный, это гули! Из песков пришли!

На гребне холма появился огонь. Потом ещё один. Потом с десятков факелов, и в их свете — фигуры. Высокие, тёмные, в лохмотьях, и вместо голов у них были черепа. Огромные, белые, конские и бараньи, с пустыми глазницами, с оскаленными зубами. Черепа качались на плечах, и фигуры выли, и бежали вниз по склону, размахивая факелами и палками.

Это было страшно. Даже мне. Я понимал, что это люди в масках, что черепа надеты на головы, что вой — это просто вой, человеческий. Но в темноте, в горах, под визг и вопли, при свете факелов, тело этого понимать не хотело. Тело хотело бежать.

Оразгельды не стал ничего понимать. Он вскочил на ближайшую лошадь, прямо без седла, ударил её пятками и умчался в темноту, по дороге, откуда мы пришли. Один из верблюдов, привязанный к его седлу, дёрнулся, порвал повод и затрусил за ним.

Сундук встал. Просто встал, во весь рост, у скалы, и тени от костра прыгали по его маске.

Абу-ль-Касим отложил книжечку. Не торопясь. Поднялся, отряхнул халат. Сунул руку в рукав и вынул кожаный мешочек. Шагнул к костру.

— Прочь! — сказал он.

Он не крикнул. Он сказал это низко, бархатно, и в ночной тишине, между двумя волнами воя, его голос прокатился по лощине, как гром.

И швырнул содержимое мешочка в костёр.

Костёр взорвался. Не как взрыв, а как огромный вздох: пламя взметнулось в рост человека, зашипело, затрещало, рассыпалось искрами, и цвет его сменился. Оно стало зелёным. Ярко, ядовито-зелёным, как не бывает огонь. По лощине пополз белый дым, густой, едкий, воняющий тухлыми яйцами.

Абу-ль-Касим воздел руки в этом зелёном свете. Лицо его снизу, освещённое мертвенным огнём, было страшным, чужим, как лицо на иконе в заброшенной церкви. Он заговорил. Громко, нараспев, на языке, которого я не понимал. Может, по-гречески. Может, это вообще был не язык.

Гули остановились на полпути вниз по склону. Вой оборвался. Факелы задрожали.

А потом кто-то из них взвизгнул уже не как гуль, а как человек, по-настоящему, и они побежали. Вверх по склону, спотыкаясь, роняя факелы, толкая друг друга. Черепа мотались на их плечах.

Я узнал запах раньше, чем понял, что узнал. Сера. Тухлые яйца — это сера, её горелый дух. Шипение и искры — селитра, её много в стенах старых конюшен и в кучах навоза, любой

алхимик знает. А зелёный огонь — медь. Любая соль меди, брось её в костёр, и пламя позеленеет. Я показывал этот номер детям на новогодних утренниках в Алматы. С медным купоросом из хозяйственного магазина. Дети визжали от восторга.

Здесь от него визжали взрослые мужчины.

Один из бегущих споткнулся о камень прямо возле нашего костра и упал. Маска слетела с его плеч и покатилась. Конский череп, высушенный, выбеленный, с дырами, пропиленными для глаз. Человек под ним заскреб руками по камням, пытаясь встать.

Я оказался рядом раньше Сундука. Схватил за плечо, развернул.

Это был мальчишка. Лет четырнадцати, может меньше. Тощий, как палка, в драной рубахе, лицо чёрное от грязи и солнца, и на этом лице были огромные белые от ужаса глаза. Он смотрел на меня и трясся всем телом.

— Не убивай, — прошептал он. — Не убивай, ака, я не хотел, меня заставили...

— Кто?

— Старшие. Отара сдохла, зимой. Вся. Есть нечего. Старшие сказали: пойдём пугать караваны, караванщики бросят вьюки и убегут, вьюки возьмём. Мы не убиваем, ака. Никогда. Только пугаем.

Я оглянулся. Абу-ль-Касим стоял у зелёного костра спиной к нам и смотрел на гребень, где исчезали последние факелы. Сундук стоял у скалы и смотрел на меня.

Я сунул руку за пазуху, достал горсть сушёного урюка и ссыпал мальчишке в ладонь.

— Беги, — сказал я. — И скажи старшим, что колдун ещё не спит.

Он смотрел на урюк, как на золото. Потом вскочил и побежал, не оглядываясь, босиком по камням.

Я повернулся. Сундук всё так же стоял у скалы и смотрел на меня сквозь прорези маски. Он видел. Он всё видел.

И ничего не сделал. Отвернулся и сел обратно, спиной к скале.

Абу-ль-Касим подошёл ко мне, вытирая руки платком. Зелёный огонь уже угасал, снова становясь жёлтым.

— Видишь, мальчик? — сказал он тихо и довольно. — Огонь, который они не понимают, и они бегут. Людям не нужен меч. Им нужен огонь, которого они не понимают.

— А если поймут? — спросил я.

Он посмотрел на меня, и в свете догорающего костра глаза у него были тёплые и весёлые.

— Люди никогда не хотят понимать, — сказал он. — Понимать трудно. Бояться легко.

Оразгельды вернулся на рассвете. С лошастью и с верблюдом, серый от стыда. Абу-ль-Касим не сказал ему ни слова.

* * *

К полудню четвёртого дня мы вошли в ущелье.

Сначала оно было широкое, с сухим руслом посередине и обвалами по бокам. Потом стены сдвинулись, стали выше, отвеснее, и солнце ушло за край. Стало прохладно. Под ногами хрустел щебень, где-то капала вода. Скалы по сторонам были тёмные, почти чёрные, будто покрытые лаком. Такой загар бывает на камнях в пустынях за тысячи лет.

А на загаре были рисунки.

Я увидел первый случайно, когда осёл остановился и я поднял голову. Козёл. Горный козёл, выбитый в камне несколькими точными линиями, с огромными рогами, загнутыми назад, почти до хвоста. Рядом другой. Потом третий. Потом я перестал считать.

Они были везде. На каждой скале, на каждом валуне, на высоте человеческого роста и выше, там, куда нельзя было дотянуться без лестницы. Козлы, сотни козлов. Охотники с луками, крошечные, как муравьи, и огромные быки, и верблюды, и лошади, и какие-то люди

с поднятыми руками, будто в танце, и фигура с головой, из которой расходились лучи, как у солнца. Кто-то выбивал их здесь, камнем по камню, тысячи лет. Одни рисунки были светлые и свежие, другие почти слились со скалой, ушли в загар, и видно их было, только если свет падал сбоку.

Я ехал и смотрел, открыв рот. Даже Бакшиш притих.

— Здесь молились, — сказал Абу-ль-Касим. — Задолго до Сулеймана. До всего. Здесь было святое место. Потом люди ушли, а святость осталась.

Ущелье повернуло. За поворотом стояла скала, огромная, в три человеческих роста, гладкая, как стена. И на этой скале, одна, большая, выбитая глубже и точнее всех остальных, была фигура всадника.

Он сидел на коне, и конь шёл вперёд, и вокруг коня бежали козлы, и над головой всадник держал вытянутую руку. А в руке была лампа. Маленькая, с носиком, как те чираги в нишах у Сафии. Над лампой расходились короткие линии: свет.

Я слез с осла и подошёл к скале.

И тогда задул ветер.

Он пришёл сверху, из глубины ущелья, и прошёл по скалам, и скалы запели. Где-то в камне были дыры: промоины, щели, пустоты. Ветер дул в них, как в горлышко кувшина, и скалы гудели. Низко, протяжно, на несколько голосов.

Я стоял перед всадником с лампой и слушал, как поёт ущелье.

На одно мгновение, не больше, мне показалось, что я знаю этот мотив. Низкая нота, потом выше, потом ещё выше, и вниз. «Спи, сынок. Луна над крышей».

Ветер стих. Скалы замолчали.

Я стоял, и по спине у меня бежали мурашки. Я знаю, как это работает. Знаю про апофе-
нию: мозг ищет знакомое в случайном, видит лица в облаках и слышит слова в шуме воды. Я слушал колыбельную Сафии всю ночь, пять раз подряд, конечно, теперь она мне будет слышаться в каждом скрипе.

Я это знал. Мурашки не проходили.

— Здесь, — сказал Абу-ль-Касим за моей спиной.

* * *

Он искал долго. Ходил вдоль подножия скалы, трогал камни, заглядывал в трещины, сверялся с книжечкой в кожаном переплёте. Потом остановился у левого края, где скала уходила в осыпь, присел, сунул руку в щель по самое плечо и что-то нащупал.

— Сундук.

Сундук подошёл. Абу-ль-Касим показал ему что-то в щели. Сундук сунул туда руку, напрягся всем своим огромным телом, так что под кожаной безрукавкой вздулись мышцы, и потянул.

Где-то в глубине скалы щёлкнуло. Потом заскрежетало, долго, тяжело, как будто в недрах горы сдвигался жернов. И прямо под рисунком всадника, у самого подножия, часть скалы, которую я принял за обычный камень, с сухим хрустом отошла назад и поползла вверх.

Это была плита. Каменная, толщиной в локоть, шириной в два моих роста. Она поднималась медленно, рывками, на какой-то скрытой цепи или верёвке, и из-под неё, из черноты, потянуло холодом. Сырым, древним холодом, пахнущим старой водой и металлом.

Плита поднялась на высоту человеческого роста и остановилась. Сундук отпустил то, что держал в щели, и плита осталась висеть.

— Противовес, — сказал Абу-ль-Касим почти ласково. — Где-то там, внутри скалы, висит камень вдвое тяжелее этой плиты. Опустить его — плита поднимется. Поднимешь — упадёт. Твой прадед знал своё дело.

За плитой была комнатка. Маленькая, пустая, вырубленная в скале, с гладкими стенами. В дальней стене, у самого пола, чернела дыра.

Круглая, как нора, шириной в полтора локтя. Не больше.

Абу-ль-Касим зажёл глиняный светильник от своего огнива, протянул мне. Потом протянул бурдюк с водой.

— Лаз, — сказал он. — Долгий. Мастера строили, а подмастерья носили им масло и инструменты. Мальчишки. Худые, как ты. Взрослый не пролезет.

Я посмотрел на него. Потом на Сундука. Потом на дыру.

— Там будет дверь, — сказал Абу-ль-Касим. — Напёрсток её откроет. Дальше иди. Смотри под ноги. И запомни, мальчик, запомни крепко: не трогай ничего, кроме лампы. Ничего. Ни камешка, ни монетки, ни цветка. Возьмёшь лампу и принесёшь её сюда. Я подам тебе руку и вытащу наверх.

— Откуда вы знаете, что там? — спросил я.

— Брат рассказывал, — сказал он.

Бусина под пальцем. Как же иначе.

Бакшиш у меня на плече тихо заскулил и полез за пазуху, под рубаху, прижавшись к напёрстку.

— Оставь обезьяну, — сказал Абу-ль-Касим.

— Он без меня будет кричать на всю гору.

Магрибинец пожал плечами.

Я опустился на колени перед дырой. Оттуда тянуло холодом. Огонёк светильника дрожал на сквозняке. Я заглянул внутрь: ход уходил вперёд, прямо, и через два локтя свет в нём кончался. Дальше была чернота.

— Дальше только ты, — сказал Абу-ль-Касим мягко. — Я не пролезу.

Глава 9. Пещера чудес

Я считал.

Это старая привычка эскаполога: когда тебя запирают в ящик, закованного, под воду, ты считаешь. Не секунды, а движения. Раз — локоть вперед. Два — колено. Три — светильник дальше. Четыре — второй локоть. Счёт не даёт думать о том, что над тобой гора.

Лаз шёл вниз, полого, и был таким узким, что я полз, прижав руки к бокам, толкая перед собой светильник. Потолок касался спины. Стены касались плеч. Камень был гладкий, отполированный. Сколько же мальчишек проползло здесь, чтобы он стал таким гладким? Бакшиш лежал у меня за пазухой, прижавшись к напёрстку, и мелко дрожал. Его сердце стучало мне в грудь.

Шестьдесят. Семьдесят. Каждые двадцать локтей в стене была маленькая ниша, закопчённая сверху. Сюда когда-то ставили светильники. Подмастерья, которые носили мастерам масло, ползли здесь от огонька к огоньку, как по ступенькам.

Сто.

На сто двадцатом движении огонёк светильника вдруг наклонился и затрепетал. Навстречу мне шёл воздух. Лёгкий, холодный, сырой. Где воздух, там выход, и я пополз быстрее.

Лаз кончился маленькой круглой комнатой, в которой можно было встать на колени. А впереди была дверь.

Круглая, бронзовая, во всю стену, тёмно-зелёная от времени. На ней выпуклым рельефом шла шестиконечная звезда в круге, та же, что на кольце у меня на пальце. Посредине звезды было углубление. Круглая ямка размером с кончик пальца, а внутри неё, когда я поднёс светильник, я увидел бугорки. Маленькие, разной высоты. Как ямки на напёрстке, только наоборот.

Я достал напёрсток из-под рубахи, надел на средний палец и вставил в ямку.

Он вошёл неплотно, болтаясь, как чужой ключ. Я нажал. Бугорки внутри подались, один, другой, третий, с тихими щелчками, как клавиши. Потом что-то встало на место, и палец упёрся. Я повернул руку вправо.

Не пошло.

Влево.

Внутри двери, глубоко, щёлкнуло. Потом загудело, заскрежетало, как в скале наверху, когда Сундук дёргал свой рычаг. Дверь дрогнула и медленно, тяжело, провернулась внутрь на скрытой оси, открывая черноту.

Из черноты дохнуло холодом, и мой огонёк чуть не погас.

* * *

За дверью был зал. Длинный, узкий, как коридор, с высоким сводом, которого мой светильник не доставал. Стены уходили вверх и терялись в темноте. Пол был ровный, из плит. Я пошёл вперед, прикрывая огонь ладонью.

Шагов через десять кто-то прошептал мне в ухо:

— Уходи.

Я застыл.

Шёпот был на языке, которого я не знал. Не местный, не тот, что мне выдали вместе с телом. Древнее, грубее, с гортанными звуками. Но интонация была понятна без слов. Так говорят «уйди» на всех языках мира.

Потом прошептали с другой стороны. Потом сверху. Потом сразу со всех сторон, много голосов, тихих, шелестящих, как сухие листья. Они шептали одно и то же слово, снова и снова, то громче, то тише, то совсем пропадая, то возвращаясь, и среди них, я готов был поклясться, одно слово я понял. На моём, на местном.

— Вор.

Бакшиш за пазухой вцепился в меня всеми четырьмя лапами и затих.

Мне стало страшно. По-настоящему, до слабости в коленях, до холода в животе. Я стоял в темноте, в сердце горы, с крошечным огоньком в руке, а вокруг шептали мёртвые.

Семь лет я разоблачал такое. «Голоса духов» на спиритических сеансах. «Шёпот призраков» в заброшенных домах, куда блогеры водят подписчиков за деньги. Я знал десяток способов это сделать. Я знал.

Я заставил себя дышать. Медленно. Вдох на четыре счёта, выдох на шесть.

Потом подошёл к стене и приложил к ней ухо.

Камень был холодный. И из камня, прямо в ухо, дул ветерок. Слабый, еле заметный. Я провёл ладонью по стене и нашёл дыру. Маленькую, с палец, округлую, с гладкими краями, как будто её сверлили. Чуть дальше — ещё одна. И ещё. Стена была вся в них, в дырах разной величины, на разной высоте.

Ветер. Тот самый ветер, который пел в ущелье. Он входил где-то наверху, в щели скал, и шёл сюда по трубам, прорезанным в горе. И выходил через эти дыры, и дыры были сделаны так, что звук получался похожим на шёпот. Как свист в горлышко бутылки, только тоньше. Древние мастера сделали то же, что делают флейтисты: подобрали размер отверстий, чтобы ветер говорил нужное слово.

Разоблачение в темноте. Без камеры, без зрителей, без монтажа. Просто акустика.

А мурашки не проходили.

Я пошёл дальше, держась подальше от стен, а голоса шептали мне вслед «уходи» и «вор», пока зал не кончился.

* * *

Следующая комната была шире. И пол в ней был другой.

Я остановился на пороге и поднял светильник как можно выше. Пол был выложен большими квадратными плитами, каждая в два шага шириной. Плиты шли рядами: пять в ширину, семь в глубину. Тридцать пять плит. А за последним рядом, в дальней стене, темнел проход.

На каждой плите был вырезан знак.

Я присел и посмотрел на первый ряд. Пять плит, пять знаков. Змея. Рыба. Серп. Глаз. Ладонь.

Сerp. Луна.

Второй ряд, насколько доставал свет: дерево, волнистые черты, ещё одна змея, звезда, птица. Третий ряд терялся в полутьме, но и там были волнистые черты.

«Спи, сынок. Луна над крышей».

Я нашёл на полу камешек, маленький, с орех, и бросил его на плиту с рыбой, соседнюю с луной. Камешек стукнул и остался лежать. Ничего не случилось. Слишком лёгкий. Плита, наверное, срабатывает на вес человека.

Я выдохнул и тихонько, почти про себя, запел:

— Спи, сынок. Луна над крышей...

И шагнул на серп.

Плита подо мной чуть дрогнула. Щёлкнуло что-то глубоко внизу. Я замер, стоя на одной ноге. Плита держала.

— Две воды — в один арык...

Второй ряд. Волнистые черты, вторая с края. Шаг. Держит.

Третий ряд. Я поднял светильник. Змея, звезда, волны, птица, глаз. Волны посередине.
— ...в один арык.

Шаг. Держит.

И тут Бакшиш, которому надоело сидеть у меня за пазухой в темноте и тишине, высунул голову, увидел впереди, в свете огонька, что-то, что ему понравилось, и прыгнул.

Он приземлился на соседнюю плиту. На змею.

Плита ушла вниз. Не рухнула, а просто беззвучно провалилась, как люк, и под ней была чернота. Бакшиш завершал, взмахнул лапами и полетел в эту черноту.

Я не думал. Я не успел подумать. Я выбросил руку, упал на колени на своей плите с волнами, светильник выпал из другой руки и покатился, и я схватил что-то пушистое и длинное. Хвост.

Бакшиш висел над дырой вниз головой, и визжал, и извивался, и пытался укусить мою руку. Я тянул. Где-то далеко внизу, в черноте, долго, очень долго падало что-то, что сорвалось вместе с плитой, и наконец плеснуло. Вода. Глубоко.

Я вытащил Бакшиша и прижал к себе. Он трясся и визжал мне в ухо.

Светильник лежал на краю моей плиты, на боку. Масло вытекало, но фитиль горел. Я подобрал его, дрожащими пальцами поправил фитиль. Масла осталось на доньшке.

— Ещё раз, — сказал я Бакшишу хрипло, — и я тебя сам туда брошу. Понял?

Бакшиш залез ко мне за пазуху, свернулся в комок и больше не высывался.

Я встал. Колени тряслись. Я запел снова, с того места, где остановился, и голос у меня тоже дрожал:

— Над водой звезда повисла...

Четвёртый ряд. Звезда. Шаг.

— Птица спит...

Пятый ряд. Птица, галочка с точкой. Шаг.

— ...гора молчит.

Шестой ряд. Треугольник. Шаг.

— А в отцовской медной лампе огонёк до дня горит.

Седьмой ряд. Язычок пламени. Шаг.

И я стоял на краю зала, перед проходом, а позади меня в свете дрожащего огонька лежали тридцать пять плит, и одна из них зияла чёрной дырой.

Спасибо, Мустафа, подумал я. Спасибо, что пел жене колыбельные.

* * *

Проход за полом песни вёл вниз, по ступеням, в коридор. И в коридоре был звук.

Я услышал его ещё на ступенях. Мерный, глухой, тяжёлый. Тум. Тум. Тум. Как будто где-то за стеной работала огромная мельница. И под ним шум воды.

Коридор был прямой и довольно широкий, в два человеческих роста. По обе стороны в стенах были ниши, в каждой нише стояла фигура. Высокая, в человеческий рост, тёмная, металлическая. Бронзовые воины. В шлемах, в чешуйчатых доспехах, с лицами, на которых время стёрло черты. Каждый держал в руках кривой клинок.

Я сделал шаг, и первый воин справа ударил.

Клинок со свистом пронёсся поперёк коридора, на высоте груди, и ушёл обратно в нишу. Воин вернулся в прежнюю позу. Через два удара сердца — снова. Свист, клинок, возврат. Тум. Тум.

Я стоял и смотрел.

Я жонглировал с двенадцати лет. Три мяча, потом четыре, потом ножи, потом горящие факелы. Жонглирование — это ритм. Ты не следишь за каждым мячом, ты чувствуешь такт и попадаешь в паузы.

Здесь был такт. Мерный, как стук мельницы. Где-то за стеной вода вращала колесо, колесо вращало кулачки, кулачки дёргали рычаги, и рычаги махали руками бронзовых воинов. Тупая, древняя, безупречная машина. Она не знала, кто идёт. Она просто махала.

Воинов было восемь. По четыре с каждой стороны. Они били по очереди, с небольшим сдвигом, как клавиши под пальцами пианиста. Я смотрел долго, пока не поймал рисунок. Раз, и два, и три, и четыре. Правый, левый, правый, левый. Между ударами — пауза в один вдох.

Я прошёл первого. Второго. Третьего. Проскальзывал в паузу и замирал в безопасной зоне между нишами, пока следующий клинок проносился передо мной.

Четвёртый бил неровно.

Я не заметил этого, пока не шагнул. Его механизм, наверное, износился за века, и он опаздывал. Совсем чуть-чуть, на половину удара. Я шагнул в паузу, которой не было, и клинок полоснул меня по левому предплечью.

Боль была острая, горячая, и я услышал, как рвётся ткань рукава. Я рванулся вперёд, мимо пятого, мимо шестого, седьмого, восьмого, не считая, на одном страхе, и вывалился в конец коридора, на ступени, ведущие вверх.

По руке текла кровь. Порез был неглубокий, но длинный. Я зажал его ладонью, сел на ступеньку и посидел немного, пока не перестали трястись руки. Потом оторвал полосу от подола рубахи и перевязал.

Масла в светильнике почти не осталось.

А наверху, над ступенями, был свет.

* * *

Я поднялся по ступеням и вошёл в сад.

Сначала я просто стоял. Долго, может быть, минуту, может, больше. Смотрел и не мог сдвинуться с места.

Это была огромная пещера. Настолько огромная, что я не видел её дальнего края, он терялся в сиянии. Свод уходил вверх, как купол собора. И с этого свода вниз падал свет.

Настоящий дневной свет. Столбами. Откуда-то сверху, из каких-то невидимых отверстий, прорезанных в толще горы, в пещеру падали лучи, и каждый луч попадал на зеркало. Огромные круглые зеркала из полированной бронзы стояли на треногах по всей пещере, наклонённые под разными углами, и отражали свет дальше, друг другу, в стороны, вниз, вверх. Лучи перекрещивались, дробились, дрожали. Весь воздух в пещере был пропитан золотым светом, как вода мёдом.

А в свете стояли деревья.

Бронзовые. С толстыми стволами, покрытыми насечками, как кора. С ветвями, раскинутыми во все стороны. На ветвях листья, тонкие, как бумага, и они чуть шевелились от сквозняка и звенели, тихо-тихо, как далёкие колокольчики. А между листьями висели плоды.

Красные. Синие. Зелёные. Белые. Бирюзовые.

Камни.

Огромные, с грецкий орех, с кулак. Красные, как вино на просвет, это, наверное, и есть те лалы, о которых говорили ювелиры на базаре. Синие, глубокие, как вечернее небо, с золотыми искрами внутри: лазурит. Зелёные, прозрачные, как вода в горном озере. Жемчуг гроздьями, как виноград. Бирюза. Каждый висел на тонкой нити, и когда свет падал на него, он вспыхивал, и по стенам пещеры бежали цветные зайчики.

Под деревьями по каменному полу бежала вода. Узкие каналы, выложенные камнем, журчали, сливались и расходились. Та самая вода, что крутила колесо за стеной и махала руками бронзовых воинов.

А на ветвях сидели птицы. Бронзовые, маленькие, с раскрытыми клювами. Когда сквозняк проходил по пещере, птицы пели. Тихо, тонко, чисто. Свистели, как свистят глиняные свистульки на базаре, только нежнее.

Я стоял у входа и думал, что никто мне не поверит.

Потом подумал, что, если бы у меня была камера, это был бы лучший выпуск в истории канала. И сразу подумал, что всё равно никто бы не поверил. Сказали бы: графика.

Бакшиш высунул голову из-за пазухи, посмотрел на деревья и издал звук, какого я от него ещё не слышал: тихий, восхищённый стон.

— Нет, — сказал я ему. — Нельзя. Слышишь? Ничего нельзя.

«Не трогай ничего, кроме лампы». Я видел, что камни висят на нитях. Видел, что нити уходят вверх, в ветви, и дальше, внутрь стволов. Я не знал, что там, внутри, но догадывался: такие же рычаги, как у воинов. Такие же кулачки.

Я пошёл по саду. Осторожно, по дорожке между каналами, стараясь не задевать ветки.

Лампа стояла в самом конце.

В дальней стене пещеры была ниша, большая, высокая, обрамлённая резьбой. Над нишей — та же шестиконечная звезда в круге. В нише, на каменном постаменте, стояла лампа.

Простая медная лампа с носиком и ручкой, закрученной в петлю. Не золотая, не драгоценная, ничем не украшенная. Одна среди всего этого сияния, как нищий на свадьбе.

И она горела.

Маленький ровный огонёк на кончике фитиля. Я подошёл вплотную и смотрел на него, и волосы у меня на затылке медленно вставали дыбом.

Лампа горит несколько часов, если в неё налить масла. Полдня, если лампа большая. Эта лампа была маленькая. Сколько лет эта пещера была закрыта? Абу-ль-Касим говорил, дед построил её «до моего рождения». Пятьдесят лет назад? Сто? Кто-то должен был прийти сюда сегодня утром, или вчера, и налить в неё масло. Кто-то, кто прошёл по полу песни, мимо бронзовых воинов, через шепчущий зал. Или пришёл другой дорогой.

Я огляделся. Сад сиял, звенел и пел. Никого не было.

Я снова посмотрел на лампу. И увидел вмятину.

На боку, под ручкой. Округлую вмятину, похожую на след от большого пальца, будто кто-то когда-то сжал горячую медь.

Я знал эту вмятину. Я держал её в руках десять дней назад, в торговом куполе в Бухаре, под камерой, и объяснял семистам тысячам подписчиков, почему лампа тёплая и почему она поёт. Я перевернул её тогда и показал донышко. На горлышке была гравировка, строчка вязи, стёртая, как на старой монете.

На горлышке этой лампы была гравировка. Строчка вязи, стёртая, как на старой монете.

Та же. Буква в букву, насколько я мог судить, не умея читать.

«Ты свою ещё не потёр».

Я стоял перед нишей, и мне было холодно, как в зимнюю ночь. Холоднее, чем в шепчущем зале. Холоднее, чем когда воин полоснул меня по руке.

Совпадение, сказал я себе. Лампы делали по одному образцу. Сотнями. Тысячами. Вмятины на медных лампах бывают у всех, потому что медь мягкая. Гравировка у всех одинаковая, потому что это стандартная надпись, благословение или имя мастерской. Апофения. Мозг ищет знакомое. Ты устал, ты ранен, у тебя шок.

Я протянул руку и взял лампу.

Она была тёплая. Не горячая, а тёплая, как живая. От огонька. Конечно, от огонька.

Мой глиняный светильник совсем догорел, фитиль шипел в сухом доньшке. Я задул его и сунул за пояс. Медную лампу я держал за ручку, и огонёк на её носике горел ровно, не дрожа.

Ничего не случилось. Никакой гром не грянул, никакая дверь не захлопнулась. Сад сиял, птицы пели.

Я выдохнул и повернулся, чтобы идти обратно.

И в этот момент Бакшиш выпрыгнул у меня из-за пазухи.

Я не успел. Он пролетел над каналом, вцепился в ветку ближайшего дерева, взлетел по ней, как по лестнице, и сорвал с неё большой красный камень, горящий, как уголь.

Нить лопнула с тонким звоном.

Где-то внутри ствола щёлкнуло.

Потом внизу, под ногами, глубоко в горе, что-то тяжело ухнуло. Пол вздрогнул. Каналы, по которым текла вода, вдруг вздулись, и вода хлынула через край. Со свода посыпалась мелкая каменная крошка. Одно из бронзовых зеркал, стоявшее у входа, медленно наклонилось и рухнуло с оглушительным звоном, и свет в пещере дрогнул и потускнел. За стеной, где работало колесо, стук стал чаще. Тум-тум-тум-тум.

Бакшиш свалился с дерева мне на плечо, вцепился мне в волосы и замер. Щёки у него были раздутые, как будто он набил их урюком.

Я побежал.

Через сад, по воде, уже заливавшей дорожки, скользя, оступаясь. Птицы на ветвях свистели пронзительно, все разом, на разные голоса, как стая испуганных скворцов. Вниз по ступеням, в коридор воинов.

Воины махали быстрее. Колесо за стеной, подгоняемое водой, раскрутилось, и клинки мелькали теперь чаще, почти без пауз. Я остановился на нижней ступени, и такт вбивался мне в голову: раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре. Вода текла по коридору мне по щиколотки.

Раз. Я прыгнул. Мимо первого, мимо второго. Четвёртый, неровный, опаздывающий — теперь он бил почти в такт, и я проскочил. Пятый. Клинок свистнул у самого уха. Шестой, седьмой. Восьмой рассёк воздух у меня за спиной, и я услышал, как он звякнул о камень.

Ступени наверх. Пол песни.

Вода заливала и его. Она шла по плитам тонкой плёнкой, и знаки под ней расплывались. Я встал на краю, на плите с пламенем, и запел. Вслух, громко, уже не шёпотом. В обратном порядке, задом наперёд, так что песня рассыпалась на куски:

— Огонь! Гора! Птица! Звезда! — Шаг, шаг, шаг, шаг. — Вода! Вода! — Мимо чёрной дыры, где раньше была змея. — Луна!

Шепчущий зал. Ветер снаружи, видно, поднялся, и голоса больше не шептали. Они кричали. Выли, стонали, ревели «уходи!» и «вор!» на древнем языке, со всех сторон, и огонёк лампы у меня в руке рвался и трепетал, и я бежал, прикрывая его ладонью.

Бронзовая дверь. Круглая комната. Лаз.

Я лёг в лаз с лампой в вытянутой руке и пополз вверх. За мной, сзади, из комнаты, в лаз затекала вода, холодная, как лёд, она подтекала под живот и под колени, и я полз быстрее. Раз-два. Локоть. Колено. Лампа. Двести. Двести десять.

Впереди, в конце лаза, появился свет. Жёлтый, дрожащий, тёплый. Факел.

Я подполз к самому концу. Дыра выходила в каменную комнатку под плитой, и над дырой, с факелом в руке, на коленях, стоял Абу-ль-Касим. Лицо у него было мокрое от пота и красное от огня. Глаза горели.

Он смотрел не на меня. Он смотрел на лампу.

— Дай лампу, сынок, — сказал он ласково и протянул руку.

Гл

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.